

Большая
Новогодняя книга



*
Рождественские истории

**Александр Иванович Куприн
Антон Павлович Чехов
Чарльз Диккенс
Ганс Христиан Андерсен
Николай Васильевич Гоголь
Николай Семёнович Лесков
Михаил Михайлович Зощенко
Федор Михайлович Достоевский
Максим Алексеевич Горький
Эрнст Теодор Амадей Гофман**

**Большая Новогодняя книга. 15
историй под Новый год и Рождество**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12103841
Большая Новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-093625-0, 978-5-17-093626-7*

Аннотация

Эта книга – прекрасный подарок для всей семьи к Новому году и Рождеству.

Ведь это не просто сборник, в который вошли лучшие произведения русской и зарубежной классики в жанре святочного рассказа, – это еще и открытка, в которой вы сможете оставить свои самые добрые пожелания.

Содержание

Ганс Христиан Андерсен	6
Чарльз Диккенс	8
Строфа I. Дух Марли	8
Строфа II. Первый дух	19
Строфа III. Второй дух	28
Строфа IV. Последний дух	40
Строфа V. Эпилог	49
Эрнст Теодор Амадей Гофман	53
Сочельник	53
Подарки	55
Любимец	57
Чудеса	59
Сражение	63
Болезнь	65
Сказка о крепком орехе	67
Продолжение сказки о крепком орехе	70
Конец сказки о крепком орехе	72
Дядя и племянник	76
Победа	78
Кукольное царство	82
Столица	85
Заключение	89
Николай Гоголь	92
Николай Лесков	116
Жемчужное ожерелье	116
Глава первая	116
Глава вторая	117
Глава третья	119
Глава четвертая	121
Глава пятая	123
Неразменный рубль	126
Глава первая	126
Глава вторая	126
Глава третья	127
Глава четвертая	127
Глава пятая	128
Глава шестая	129
Глава седьмая	129
Глава восьмая	130
Привидения в инженерном замке	132
Глава первая	132
Глава вторая	132
Глава третья	133
Глава четвертая	134
Глава пятая	135
Глава шестая	136

Глава седьмая	136
Глава восьмая	137
Глава девятая	138
Глава десятая	138
Глава одиннадцатая	139
Федор Достоевский	140
I. Мальчик с ручкой	140
II. Мальчик у Христа на елке	141
Антон Чехов	144
Мальчики	144
На святках	148
Страшная ночь	151
Ночь на кладбище	155
Александр Куприн	157
Максим Горький	162
Михаил Зощенко	172
Елка	172

Большая Новогодняя книга. 15 историй под Новый год и Рождество

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Ганс Христиан Андерсен **Девочка со спичками** **Перевод Анны и Петра Ганзен**

Морозило, шел снег, на улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились! Огромные-преогромные! Последнею их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебежала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот девочка побрела дальше босая; ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички – она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше... Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на ее прекрасные, вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями: был канун Нового года – вот об этом она думала.

Наконец она уселась в уголке, за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела, ведь она не продала ни одной спички, не выручила ни гроша – отец приберет ее! Да и не теплее у них дома! Только что крыша над головой, а ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное, и, когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке! Она вытянула было и ножки, но... огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкою и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена.

Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшею елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла, огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки; одна из них вдруг покатила по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

– Вот кто-то умирает! – сказала малютка.

Покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила ей: «Падает звездочка – чья-нибудь душа идет к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая, ее бабушка.

– Бабушка! – вскричала малютка. – Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка, уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая, славная елка!

И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках, – так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха: к Богу!

В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела.

– Она хотела погреться, бедняжка! – говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо!

Чарльз Диккенс

Рождественская песнь в прозе

Перевод с английского Николая Пушешникова

Строфа I. Дух Марли

Начнем с того, что Марли умер. В этом нет ни малейшего сомнения. Акт о его погребении был подписан пастором, причетником, гробовщиком и распорядителем похорон. Сам Скрудж подписал этот акт. А имя Скруджа служило ручательством на бирже за все, к чему бы он ни приложил руку...

Итак, старик Марли был мертв, как дверной гвоздь.

Заметьте – я не хочу сказать, будто я самолично убедился, что есть нечто особенно мертвое в дверном гвозде. Я-то склонен считать самой мертвой вещью из всех железных изделий скорее гробовой гвоздь. Но в сравнениях – мудрость отцов наших, и ради спокойствия отечества не подобает мне недостойными руками касаться их.

Позвольте же поэтому еще настойчивее повторить, что Марли был мертв именно как дверной гвоздь.

Знал ли Скрудж об этом? Разумеется, знал. Да и могло ли быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами в продолжение я не знаю скольких лет. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем, единственным преемником, единственным наследником, единственным другом, единственным поминальщиком, и однако Скрудж был вовсе не так ужасно поражен этим печальным событием, чтобы не остаться даже в самый день похорон истым дельцом и не ознаменовать его одной несомненно хорошей сделкой.

Но упоминание о похоронах Марли заставляет меня вернуться к тому, с чего я начал. Нет ни малейшего сомнения, что Марли умер. И этого никак нельзя забывать, иначе не будет ничего удивительного в истории, которую я намереваюсь рассказать. Ведь если бы мы не были твердо убеждены в том, что отец Гамлета умер до начала представления, то и его скитания по ночам, при восточном ветре, вдоль стен его же собственного замка были бы ничуть не замечательнее поступка любого господина средних лет, ночью вышедшего прогуляться куда-нибудь – ну, скажем, на кладбище св. Павла, – только затем, чтобы поразить своего слабоумного сына.

Скрудж не стер с вывески имя старика Марли: оно и после смерти его еще долго красовалось над дверью конторы: «Скрудж и Марли». Новички звали Скруджа иногда Скруджем, а иногда и Марли, и он отзывался и на то и на другое имя. О, это было совершенно безразлично для него – для этого старого грешника и скряги, для этой жилы и паука, для этих завидущих глаз и загребущих рук! Твердый и острый, как кремень, из которого никакая сталь не выбивала никогда ни единой благородной искры, он был скрытен, сдержан и замкнут в самом себе, как устрица в своей раковине. Внутренний холод оледенил его поблекшие черты, заострил его нос, покрыл морщинами щеки, сделал походку мертвенной, глаза красными, тонкие губы синими и резко сказывался в его скрипучем голосе. Точно заиндевели его голова, его брови, его колючий подбородок. Он вносил с собою этот холод повсюду; холодом дышала его контора – и такой же была она и в рождественские дни.

Окружающее мало влияло на Скруджа. Не согревало его лето, не знобила зима. Никакой ветер не был так лют, никакой дождь не был так упорен, как он, никакой дождь не шел так упрямо, как шел Скрудж к своей цели, никакая адская погода не могла сломить его. Ливень,

вьюга, град, крупа имели только одно преимущество перед ним. Они часто бывали щедры, Скрудж – никогда. Никогда и никто не останавливал его на улице радостным восклицанием: «Как поживаете, дорогой мой! Когда же вы заглянете ко мне?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руки, ни один ребенок не решался спросить у него который час, ни единая душа не осведомилась у него ни разу за всю его жизнь, как пройти на ту или другую улицу. Даже собаки слепцов, казалось, раскусили Скруджа и, завидя его, тащили своих хозяев под ворота и во дворы, виляли хвостами и как будто хотели сказать: «Лучше вовсе не иметь глаз, хозяин, чем иметь такие глаза».

Но какое дело было до этого Скруджу? Это-то ему и нравилось. Пробираясь по тесной жизненной тропе, пренебрегая всяким человеческим чувством, – вот что, по словам людей знающих, было целью Скруджа.

Однажды – в один из лучших дней в году, в сочельник, – старый Скрудж работал в своей конторе. Стояла ледяная, туманная погода, и он слышал, как снаружи люди, отдуваясь, бегали взад и вперед, колотили себя руками и топали, стараясь согреться.

На городской башне только что пробило три часа, но было уже совсем темно: с самого утра стояли сумерки, и в окнах соседних контор красноватыми пятнами мерцали сквозь бурую мглу свечи. Туман проникал в каждую щель, в каждую замочную скважину и был так густ, что противоположные дома казались призраками, хотя двор был очень узок. Глядя на это грязное облако, опускавшееся все ниже и все омрачавшее, можно было подумать, что природа на глазах у всех затевает что-то страшное, огромное.

Дверь своей комнаты Скрудж не затворял, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за своим помощником, переписывавшим письма в маленькой, угрюмой и сырой каморке рядом. Невелик был огонек в камине Скруджа, а у писца он был и того меньше: подкинуть угля нельзя было – Скрудж держал угольный ящик в своей комнате. Как только писец брался за лопатку, Скрудж останавливал его замечанием, что им, кажется, придется скоро расстаться. И писец закутал шею своим белым шарфом и попытался было согреться у свечи, в чем, однако, не имея пылкого воображения, потерпел неудачу.

– С праздником, дядя, с радостью! Дай вам Бог всех благ земных! – раздался чей-то веселый голос.

То крикнул племянник Скруджа, так внезапно бросившийся ему на шею, что Скрудж только тут заметил его появление.

– Гм!.. – отозвался Скрудж. – Вздор!

Племянник так разгорячился от быстрой ходьбы по морозу и туману, что его красивое лицо пылало, глаза искрились и от дыхания шел пар.

– Это Рождество-то вздор, дядя? – воскликнул он. – Вы, конечно, шутите?

– Нисколько, – сказал Скрудж. – С радостью! Какое ты имеешь право радоваться? Какое основание?

– Но тогда, – весело возразил племянник, – какое право имеете вы быть печальным? Какое основание имеете вы быть мрачным? Вы достаточно богаты.

Скрудж, не найдясь что ответить, повторил только: «Гм!.. Вздор!»

– Не сердитесь, дядя! – сказал племянник.

– Как же мне не сердиться, – отозвался дядя, – когда я живу среди таких дураков, как ты? С радостью, с Рождеством! Отстань ты от меня со своим Рождеством! Что такое для тебя Рождество, как не время расплаты по счетам при совершенно пустом кармане, как не день, когда ты вдруг вспоминаешь, что постарел еще на год и не сделался богаче ни на йоту, как не срок подвести балансы и найти во всех графах, за все двенадцать месяцев дефицит? Будь моя воля, – продолжал Скрудж с негодованием, – я бы каждого идиота, бегающего с подобными поздравлениями, сварил бы вместе с его рождественским пудингом и воткнул бы в его могилу остролиственный кол! Непременно бы так и сделал!

– Дядя! – возразил племянник.

– Племянник! – перебил его Скрудж строго. – Справляй Рождество по-своему, а мне позволь справлять его как мне хочется.

– Справлять! – воскликнул племянник. – Но ведь вы его совсем не справляете!

– Ну так и позволь мне совсем не справлять его, – сказал Скрудж. – А ты справляй себе на здоровье! Много пользы извлек ты из этих празднований!

– Мог бы извлечь, – отозвался племянник, – но смею сказать, что я никогда не стремился к этому. Я только всегда был убежден, всегда думал, что Рождество, помимо священных воспоминаний, если только можно отделить от него эти воспоминания, – есть время хорошее – время добра, всепрощения, милосердия, радости, единственное время во всем году, когда кажется, что широко раскрыто каждое сердце, когда считают каждого, даже стоящего ниже себя, равноправным спутником по дороге к могиле, а не существом иной породы, которому подобает идти другим путем. И поэтому, дядя, я верю, что Рождество, которое не принесло мне еще ни полушки, все-таки принесло и будет приносить много пользы, и говорю: да благословит его Бог!

Писец в своей сырой каморке не выдержал и заплодировал, но спохватился и стал мешать уголья в камине, причем погасил в нем и последнюю слабую искру.

– Еще один звук, – сказал Скрудж, – и вы отпразднуете ваше Рождество потеряв место. Вы выдающийся оратор, сэр, – прибавил он, обращаясь к племяннику. – Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

– Не гневайтесь, дядя! Слушайте, приходите к нам завтра обедать.

Скрудж, в ответ на это, послал его к черту.

– Да что с вами? – воскликнул племянник. – За что вы сердитесь на меня?

– Зачем ты женился? – сказал Скрудж.

– Потому что влюбился.

– Потому что влюбился! – проворчал Скрудж таким тоном, точно это было еще более нелепо, чем поздравление с праздником. – До свиданья!

– Дядя, но вы ведь и до моей женитьбы никогда не заглядывали ко мне. Почему же вы ссылаетесь на это теперь?

– До свиданья! – сказал Скрудж.

– Но ведь мне ничего не надо от вас, я ничего у вас не прошу, – почему же мы не можем быть друзьями?

– До свиданья! – повторил Скрудж.

– Мне от всей души жаль, что вы так упрямы. Между нами никогда не было никакой ссоры, виновником которой являлся бы я. Ради праздника я и теперь протянул вам руку и сохраню праздничное настроение до конца. С праздником, дядя, с праздником!

– До свиданья! – сказал Скрудж.

– И со счастливым Новым годом!

– До свиданья! – сказал Скрудж.

Однако племянник вышел из конторы, так и не сказав ему ни единого неприятного слова. В дверях он остановился, чтобы поздравить и писца, который, хоть и окоченел, был все-таки теплее Скруджа и сердечно отозвался на приветствие.

– Вот еще такой же умник, – проговорил Скрудж, услыша это, – господин с жалованьем в пятнадцать шиллингов в неделю, с супругой, детками, радующийся праздником! Я, кажется, переселюсь в Бедлам!

А писец, затворяя дверь за племянником Скруджа, впустил еще двух господ. Это были почтенные, прилично одетые люди, которые, сняв шляпы, вошли в контору с книгами и бумагами и вежливо поклонились.

– Скрудж и Марли, не правда ли? – сказал один из них, справляясь со списком. – Я имею честь говорить с г. Скруджем или г. Марли?

– Г. Марли умер ровно семь лет тому назад, – возразил Скрудж. – Нынче как раз годовщина его смерти.

– Мы не сомневаемся, что его щедрость целиком перешла к пережившему его компаньону, – сказал господин, протягивая Скруджу подписной лист. И сказал совершеннейшую правду, ибо Скрудж и Марли стоили друг друга. При зловещем слове «щедрость» Скрудж нахмурился, покачал головой и подал лист обратно. – В эти праздничные дни, – сказал господин, взяв перо в руки, – еще более чем всегда подобает нам заботиться о бедных и сирых, участь коих заслуживает теперь особенного сострадания. Тысячи людей терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч лишены самых простых удобств.

– Разве нет тюрем? – опросил Скрудж.

– Их чересчур много, – сказал господин, снова кладя перо на стол.

– А работных домов? – продолжал Скрудж. – Разве они уже закрыты?

– Нет, – отозвался господин, – но об этом можно только сожалеть.

– Разве приюты и законы о призрении бедных бездействуют? – спросил Скрудж.

– Напротив, у них очень много работы.

– О! А я было испугался, заключив из ваших первых слов, что они почему-нибудь приостановили свою общепользную деятельность. Очень рад слышать противное.

– Убеждение в том, что эти учреждения не оправдывают своего назначения и не дают должной пищи ни душе, ни телу народа, побудило нас собрать по подписке сумму, необходимую для приобретения бедным пищи, питья и топлива. Время праздников наиболее подходит для этой цели, ибо теперь бедняки особенно резко чувствуют свою нужду, люди же состоятельные менее скупаются. Сколько прикажете записать от вашего имени?

– Ничего не надо писать, – ответил Скрудж.

– Вы желаете остаться неизвестным?

– Я желаю, чтобы оставили меня в покое, – сказал Скрудж. – Вот и все. С своей стороны я содействую процветанию тех учреждений, о которых только что упоминал: они обходятся мне недешево; а посему пусть нуждающиеся отправляются туда.

– Многие из них охотнее умрут...

– И отлично сделают – по крайней мере этим они уменьшат избыток народонаселения. Впрочем, извините меня, я тут ни при чем.

– Но могли бы быть причем.

– Не мое это дело, – возразил Скрудж. – Для каждого вполне достаточно исполнять свои собственные дела и не вмешиваться в чужие. Я же и так неустанно забочусь о своих. До свиданья, господа.

Убедившись, что настаивать бесполезно, посетители удалились.

Довольный собою и в необычно шутовском настроении, Скрудж снова принялся за работу.

Между тем мрак и туман сделались так густы, что появились факельщики, предлагавшие освещать дорогу проезжавшим экипажам. Старинная церковная башня, с готической амбразуры которой всегда косился на Скруджа мрачный викинг, сделалась невидимой; колокол вызванивал теперь часы и четверти где-то в облаках, и каждый удар его сопровождался дребезжанием, точно там, в вышине, стучали в чьей-то окоченевшей от холода голове зубы. Становилось все холоднее. Против конторы Скруджа рабочие чинили газовые трубы, разведя большой огонь, и около него столпилась кучка оборванцев и мальчишек: они с наслаждением грели руки и мигали глазами перед пламенем. Водопроводный кран, который забыли запереть, изливал воду, превращавшуюся в лед. Свет из магазинов, в которых ветви и ягоды остролиста потрескивали от жары оконных ламп, озарял багрянцем лица

проходящих. Лавки с битой птицей и овощами совершенно преобразились, представляя дивное зрелище, и трудно было поверить, что со всем этим великолепием связывалось такое скучное слово, как торговля.

Лорд-мэр в своем дворце отдавал приказания пятидесяти поварам и дворецким отпраздновать Рождество сообразно его сану. И даже маленький портной, которого он оштрафовал в прошлый понедельник на пять шиллингов за пьянство и буйство на улице, мастерил у себя на чердаке пудинг, в то время как его тщедушная жена, захватив с собой ребенка, пошла в мясную лавку.

Туман густел, холод становился все более пронизывающим, колючим, нестерпимым. Если бы добрый святой Дунстан не своим обычным орудием, а этим холодом хватил бы по носу дьявола, тот, наверное, взвыл бы как следует. Некий юный обладатель крохотного носика, до которого лютый мороз добрался, как собака до кости, прильнул к замочной скважине Скруджа с намерением пропеть рождественскую песнь. Но при первых же звуках:

Пусть вас Бог благословит,
Пусть ничто вас не печалит, –

Скрудж с такой энергией схватил линейку, что певец в ужасе бросился бежать, представляя замочную скважину туману и морозу, столь близкому душе Скруджа.

Наконец наступил час запирать контору. С неохотой слез Скрудж со своего кресла, подавая тем знак давно ожидавшему этой минуты писцу, что занятия окончены, и тот мгновенно потушил свечу и надел шляпу.

– Вы, вероятно, хотите освободиться от занятий на весь завтрашний день? – сказал Скрудж.

– Если это удобно, сэра.

– Это не только неудобно, это еще и несправедливо, – сказал Скрудж. – Ведь, если бы я вычел в этот день полкроны, я убежден, что вы сочли бы себя обиженным.

Писец слабо улыбнулся.

– И однако, – сказал Скрудж, – вы и не думаете, что я могу быть обсчитан, платя вам даром жалованье.

Писец заметил, что это бывает только раз в году.

– Слабое оправдание, чтобы тащить из моего кармана каждое двадцать пятое декабря, – сказал Скрудж, застегивая пальто вплоть до подбородка. – Но так и быть, весь завтрашний день в вашем распоряжении. Послезавтра утром приходите пораньше.

Писец пообещал, и Скрудж, ворча, вышел. Писец в одну минуту запер контору и, размахивая длиннейшими концами своего шарфа (пальто у него совсем не было), прокатился в честь сочельника раз двадцать по льду в Коририлле, вслед за шеренгой мальчишек, и во весь дух пустился домой.

Скрудж съел свой скучный обед в своем скучном трактире и, перечитав все газеты, скоротав остаток вечера за счетоводной книгой, отправился домой спать. Он жил там же, где когда-то жил его покойный компаньон. То была анфилада комнат в мрачном и громадном здании на заднем дворе, которое наводило на мысль, что оно попало сюда еще во дни своей молодости, играя в прятки с другими домами, да так и осталось, не найдя выхода.

Здание было старое и угрюмое. Никто, кроме Скруджа, не жил в нем, ибо все другие комнаты отдавались внаем под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, отлично знавший каждый его камень, с трудом, ощупью, пробирался по нему. В морозном тумане, окутывавшем старинные черные ворота, чудился сам Гений Зимы, стороживший их в печальном раздумье.

Поистине, в молотке, висевшем у двери, не было ничего странного, разве только то, что он отличался большими размерами. Сам Скрудж видел его ежедневно утром и вечером, все время своего пребывания здесь. Притом же Скрудж, как и все обитатели лондонского Сити, не исключая и старшин, и членов городского совета и цехов – да простится мне великая дерзость! – не обладал ни малейшим воображением.

Не надо также забывать и того, что до сегодняшнего дня, когда Скрудж упомянул имя Марли, он ни разу не вспомнил своего усопшего друга.

А поэтому пусть, кто может, объяснит мне теперь, как произошло то, что, вкладывая ключ в замок, Скрудж увидел в молотке, хотя последний не подвергся ровно никакой перемене, лицо Марли.

Лицо Марли! Оно не было окутано темнотой подобно другим предметам на дворе, но, окруженное зловещим сиянием, напоминало испорченного морского рака в темном погребе. Лицо не было сурово или искажено гневом, но было именно такое, как при жизни Марли, даже с его очками, приподнятыми на лоб. Волосы странно шевелились, точно от дуновения горячего воздуха, широко раскрытые и неподвижные глаза, свинцовый цвет лица, – все это делало его ужасным; но главный ужас все-таки скрывался не в самом лице или выражении его, а в чем-то постороннем, непостижимом.

Видение тотчас же снова становилось молотком, как только Скрудж пристально вглядывался в него.

Было бы неправдой сказать, что Скрудж не испугался и не ощутил волнения, забытого им с самых детских лет. Однако после некоторого колебания он решительно взялся за ключ, крепко повернув его, и, войдя в комнату, тотчас зажег свечу.

Помедлив в нерешительности несколько мгновений, прежде чем запереть дверь, он осторожно оглянулся, точно боясь увидеть за дверью косичку Марли. Но за дверью не было ничего, кроме винтов и гаек молотка. И, издав неопределенный звук, Скрудж крепко захлопнул дверь.

Стук, подобно грому, раскатился по всему дому. Каждая комната в верхнем этаже дома и каждая бочка в винном погребе отвечали ему. Заперев дверь, Скрудж медленно прошел через сени вверх по лестнице, на ходу поправляя свечу.

По этой лестнице можно было бы провести погребальную колесницу, поставив ее поперек, дышлом к стене, а дверцами к перилам, причем осталось бы еще свободное пространство. Может быть, это и заставило Скруджа вообразить, что он видит во мраке погребальную колесницу, которая двигается сама собою. Полдюжины газовых фонарей с улицы слабо освещала сени, и, следовательно, при свете сальной свечи Скруджа в них было довольно темно.

Скрудж шел вверх, мало беспокоясь об этом. Темнота стоит дешево, а это Скрудж очень ценил. Однако, прежде чем запереть за собой тяжелую дверь, он под влиянием воспоминания о лице Марли прошелся по комнатам – посмотреть, все ли в исправности.

В гостиной, спальне, чулане все было как следует: никого не было ни под столом, ни под диваном, маленький огонек тлел за решеткой камина. Вот ложка, кастрюлька с овсянкой в устье камина – и никого ни под постелью, ни в стенном шкапу, ни в шлафроке, как-то подозрительно висевшем на стене. Все как всегда: чулан, каминная решетка, старые башмаки, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках, кочерга. Успокоившись, Скрудж запер дверь, повернув ключ два раза, чего прежде никогда не делал.

Предохранив себя таким образом от нападения, Скрудж снял галстук, надел шлафрок, туфли и ночной колпак и сел перед огнем, чтобы поесть овсянки.

Для такой лютой ночи этот огонек был чересчур мал. Скрудж должен был сесть очень близко к нему и нагнуться, чтобы от этой горсточки углей почувствовать едва уловимое дыхание теплоты.

Старинный камин, сложенный, вероятно, давным-давно голландским купцом, был обложен голландскими кафелями, украшенными рисунками из Святого Писания. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, царица Савская, вестники-ангелы, парящие в воздухе на облаках, похожих на перины, Авраам, Валтасар и апостолы, отправляющиеся в плавание на лодках, напоминающих соусники, и сотни других забавных фигур. И однако лицо Марли, умершего семь лет тому назад, поглощало все. Если бы каждый чистый кафель мог запечатлеть на своей поверхности образ, составленный из разрозненных представлений Скруджа, то на каждом таком кафеле появилось бы изображение головы старика Марли.

– Вздор все это! – сказал Скрудж и, пройдясь по комнате взад и вперед, снова сел. Откинув голову на спинку стула, он случайно взглянул на старый, остававшийся без употребления колокольчик, предназначенный неизвестно для какой цели и проведенный в комнату в верхнем этаже дома. Смотря на него, Скрудж с безграничным удивлением и необъяснимым ужасом заметил, что колокольчик начал качаться. Сначала он качался так тихо, что звука почти не было, но потом зазвонил громче, и тотчас же к нему присоединились все колокольчики в доме.

Быть может, звон длился и не более минуты, но Скруджу эта минута показалась часом. Колокольчики замолкли все сразу, а вслед за ними откуда-то из глубины послышался шум, подобный лязгу тяжелой цепи, которую тащили по бочкам в винном погребе. Скрудж тотчас же припомнил те рассказы, в которых говорилось, что в тех домах, где водится нечистая сила, появлению духов сопутствует лязг влекомых цепей.

Дверь погреба распахнулась с глухим шумом настезь, и Скрудж услышал, как подземный шум, усиливаясь, поднимался вверх по лестнице, прямо по направлению к его двери.

– Все это вздор! – сказал Скрудж. – Я не верю в эту чертовщину.

Однако он даже изменился в лице, когда дух, пройдя сквозь тяжелую дверь, очутился в комнате перед его глазами.

При его появлении едва тлевший огонек подпрыгнул, как будто хотел воскликнуть: «Я знаю его! Это дух Марли!» И точно – это было его лицо, сам Марли со своей косичкой, в своем обычном жилете, узких брюках и сапогах с торчащими кисточками, которые шевелились так же, как его косичка, полы сюртука и волосы на голове. Цепь, которую он влачил за собою, опоясывала его. Она была длинна и извивалась как хвост. Скрудж хорошо заметил, что она была сделана из денежных ящиков, ключей, висячих замков, счетных книг, разных документов и тяжелых стальных кошельков. Тело призрака было прозрачно, и Скрудж, зорко приглядевшись к нему, мог видеть сквозь жилет две пуговицы сзади на сюртуке.

Скрудж часто слышал, как говорили, что у Марли нет ничего внутри, но доньше он не верил этому. Не поверил даже и теперь, хотя дух был прозрачен и стоял перед ним. Что-то леденящее, чувствовал он, исходило от его мертвых глаз. Однако он хорошо заметил то, чего не замечал раньше, – ткань платка в складках, окутывавшего его голову и подбородок. Но, все еще не доверяя своим чувствам, он пытался бороться с ними.

– Что вам от меня нужно? – сказал Скрудж едко и холодно как всегда. – Чего вы хотите?

– Многого! – ответил голос, голос самого Марли.

– Кто вы?

– Спросите лучше: кто я был?

– Кто вы были? – сказал Скрудж громче. – Для духа вы слишком требовательны.

(Скрудж хотел было употребить выражение «придирчивы», как более подходящее.)

– При жизни я был вашим компаньоном, Яковом Марли.

– Но, может быть, вы сядете? – спросил Скрудж, во все глаза глядя на него.

– Могу и сесть.

– Пожалуйста.

Скрудж сказал это, чтобы узнать, будет ли в состоянии призрак сесть; он чувствовал, что в противном случае предстояло бы трудное объяснение.

Но дух сел с другой стороны камина с таким видом, как будто делал это постоянно.

– Вы не верите в меня? – спросил дух.

– Не верю, – сказал Скрудж.

– Какого же иного доказательства, помимо ваших чувств, вы хотите, чтобы убедиться в моем существовании?

– Не знаю, – сказал Скрудж.

– Почему же вы сомневаетесь в своих чувствах?

– Потому, – сказал Скрудж, – что всякий пустяк действует на них. Маленькое расстройство желудка – и они уже обманывают. Может быть, и вы – просто недоваренный кусок мяса, немножко горчицы, ломтик сыра, гнилая картофелина. Дело-то, может быть, скорее сводится к какому-нибудь соусу, чем к могиле.

Скрудж совсем не любил шуток, и в данный момент ему нисколько не было весело, но он шутил для того, чтобы таким путем отвлечь свое внимание и подавить страх, ибо даже самый голос духа заставлял его дрожать до мозга костей. Для него было невыразимой мукой просидеть молча хотя бы одно мгновение, смотря в эти стеклянные, неподвижные глаза.

Но всего ужаснее была адская атмосфера, окружавшая призрак. Хотя Скрудж и не чувствовал ее, но ему было видно, как у духа, сидевшего совершенно неподвижно, колебались, точно под дуновением горячего пара из печи, волосы, полы сюртука, косичка.

– Видите ли вы эту зубочистку, – сказал Скрудж, быстро возвращаясь к нападению, побуждаемый теми же чувствами и желая хоть на мгновение отвратить от себя взгляд призрака.

– Да, – ответил призрак...

– Но вы однако же не смотрите на нее, – сказал Скрудж.

– Да, не смотрю, но вижу.

– Отлично, – сказал Скрудж. – Так вот, стоит мне проглотить ее, и всю жизнь меня будет преследовать легион демонов – плод моего воображения. Вздор! Повторяю, что все это вздор!

При этих словах дух испустил такой страшный вопль и потряс цепью с таким заунывным звоном, что Скрудж едва удержался на стуле и чуть не упал в обморок. Но ужас его еще более усилился, когда дух снял со своей головы и подбородка повязку, точно в комнатах было слишком жарко, и его нижняя челюсть отвалилась на грудь.

Закрыв лицо руками, Скрудж упал на колени:

– Пощади меня, страшный призрак! Зачем ты тревожишь меня?

– Раб суеты земной, человек, – воскликнул дух, – веришь ли ты в меня?

– Верю, – сказал Скрудж. – Я должен верить. Но зачем духи блуждают по земле? Зачем они являются мне?

– Так должно быть, – возразил призрак, – дух, живущий в каждом человеке, если этот дух был скрыт при жизни, осужден скитаться после смерти среди своих близких и друзей и – увы! – созерцать то невозвратно потерянное, что могло дать ему счастье.

И тут призрак снова испустил вопль и потряс цепью, ломая свои бестелесные руки.

– Вы в цепях, – сказал Скрудж, дрожа. – Скажите, почему?

– Я ношу цепь, которую сковал при жизни, – ответил дух. – Я ковал ее звено за звеном, ярд за ярдом. Я ношу ее не по своему доброму желанию. Неужели ее устройство удивляет тебя?

Скрудж дрожал все сильнее и сильнее.

– Разве ты не желал бы знать длину и тяжесть цепи, которую ты носишь, – продолжал дух. – Она была длинна и тяжела семь лет тому назад, но с тех пор сделалась значительно длиннее. Она очень тяжела.

Скрудж посмотрел вокруг себя, нет ли и на нем железного каната в пятьдесят или шестьдесят сажен, но ничего не увидел.

– Яков, – воскликнул он. – Старый Яков Марли! Скажи мне что-нибудь в утешение, Яков!

– Это не в моей власти, – ответил дух. – Утешение дается не таким людям, как ты, и исходит от вестников иной страны, Эбензар Скрудж! Я же не могу сказать и того, что хотел бы сказать. Мне позволено очень немного. Я не могу отдыхать, медлить, оставаться на одном и том же месте. Заметь, что во время моей земной жизни я даже мысленно не переступал границы нашей меняльной норы, оставаясь безучастным ко всему, что было вне ее. Теперь же передо мной лежит утомительный путь.

Всякий раз, как Скрудж задумывался, он имел обыкновение закладывать руки в карманы брюк. Обдумывая то, что сказал дух, он сделал это и теперь, но не встал с колен и не поднял глаз.

– Ты, должно быть, не очень торопился, – заметил Скрудж тоном делового человека, но покорно и почтительно.

– Да, – сказал дух.

– Ты умер семь лет тому назад, – задумчиво сказал Скрудж. – И все время странствуешь?

– Да, – сказал дух, – странствую, не зная отдыха и покоя, в вечных терзаниях совести.

– Но быстро ли совершаешь ты свои перелеты? – спросил Скрудж.

– На крыльях ветра, – ответил дух.

– В семь лет ты мог облететь бездны пространства, – сказал Скрудж.

Услышав это, дух снова испустил вопль и так страшно зазвенел цепью в мертвом молчании ночи, что полицейский имел бы полное право обвинить его в нарушении тишины и общественного спокойствия.

– О пленник, закованный в двойные цепи, – воскликнул призрак, – и ты не знал, что потребны целые годы непрерывного труда существ, одаренных бессмертной душой, для того чтобы на земле восторжествовало добро. Ты не знал, что для христианской души на ее тесной земной стезе жизнь слишком коротка, чтобы сделать все добро, которое возможно? Не знал, что никакое раскаяние, как бы продолжительно оно ни было, не может вознаградить за прошедшее, не может загладить вины того, кто при жизни упустил столько благоприятных случаев, чтобы творить благо? Однако я был таким, именно таким.

– Но ты всегда был отличным дельцом, – сказал Скрудж, начиная применять слова духа к самому себе.

– Дельцом! – воскликнул дух, снова ломая руки. – Счастье человеческое должно было быть моей деятельностью, любовь к ближним, милосердие, кротость и доброжелательство – на это, только на это должна была бы быть направлена она. Дела должны были бы быть только каплей в необъятном океане моих обязанностей.

И он вытянул цепь во всю длину распростертых рук, точно она была причиной его теперь уже бесполезной скорби, и снова тяжко уронил ее.

– Теперь, на исходе года, – продолжал он, – мои мучения стали еще горше. О, зачем я ходил в толпе подобных мне с опущенными глазами и не обратил их к благословенной звезде, приведшей волхвов к вертепу нищих! Разве не было вертепов нищих, к которым ее свет мог привести и меня!

Пораженный Скрудж, слушая это, задрожал всем телом.

– Слушай, слушай меня, – вскричал дух, – срок мой краток.

– Я слушаю, – сказал Скрудж, – но прошу тебя, Яков, не будь так жесток ко мне и говори проще.

– Как случилось, что я являюсь перед тобой в таком образе, я не знаю. Я ничего не могу сказать тебе об этом. Много, много дней я пребывал невидимым возле тебя.

Эта новость была не весьма приятна Скруджу... Он отер пот со лба.

– Наказание мое было еще тяжелее от этого, – продолжал дух. – Сегодня ночью я здесь затем, чтобы предупредить тебя, что ты, Эбензар, имеешь еще возможность при моей помощи избежать моей участи.

– Благодарю тебя. Ты всегда был моим лучшим другом.

– К тебе явятся три духа, – сказал призрак.

Лицо Скруджа вытянулось почти так же, как у духа.

– Это и есть та возможность, о которой ты говоришь, Яков? – спросил Скрудж прерывающимся голосом.

– Да.

– По-моему, – сказал Скрудж, – лучше, если бы не было совсем этой возможности!

– Без посещения духов ты не можешь избежать того пути, по которому шел я. Жди первого духа завтра, как только ударит колокол.

– Не могут ли они прийти все сразу? – попробовал было вывернуться Скрудж.

– Второго духа ожидай в следующую ночь в этот же самый час. В третью ночь тебя посетит третий дух, когда замолкнет колокол, отбивающий полночь. Не смотри так на меня и запомни наше свидание. Ради твоего собственного спасения, ты более не увидишь меня.

Произнеся эти слова, дух снова взял со стола платок и повязал его вокруг головы. По стуку зубов Скрудж понял, что челюсти его снова сомкнулись. Он решился поднять глаза и увидел, что неземной гость стоит перед ним лицом к лицу: цепь обвивала его стан и руки.

Призрак стал медленно пятиться назад, к окну, которое при каждом его шаге понемногу растворялось, а когда призрак достиг окна, оно широко распахнулось. Призрак сделал знак, чтобы Скрудж приблизился, – и Скрудж повиновался.

Когда между ними осталось не более двух шагов, дух Марли поднял руку, запретив ему подходить ближе. Побуждаемый скорее страхом и удивлением, чем послушанием, Скрудж остановился, и в ту же минуту, как только призрак поднял руку, в воздухе пронесся смутный шум – бессвязный ропот, плач, стоны раскаяния, невыразимо скорбный вопль. Послушав их мгновение, призрак присоединил свой голос к этому похоронному пению и стал постепенно растворяться в холодном мраке ночи.

Скрудж последовал за ним к окну: так непобедимо было любопытство. И выглянул из окна.

Все воздушное пространство наполнилось призраками, тревожно метавшимися во все стороны и стенающими. На каждом призраке была такая же цепь, как и на духе Марли. Ни одного не было без цепи, а некоторые – быть может, преступные члены правительства, – были скованы вместе. Многих из них Скрудж знал при жизни. Например, он отлично знал старого духа в белом жилете, тащившего за собой чудовищный железный ящик, привязанный к щиколке. Призрак жалобно кричал, не будучи в состоянии помочь несчастной женщине с младенцем, сидевшим внизу, на пороге двери. Было ясно, что самые ужасные муки призраков заключались в том, что они не были в силах сделать то добро, которое хотели бы сделать.

Туман ли окутал призраков или они растаяли в тумане, Скрудж не мог бы сказать уверенно. Но вот голоса их смолкли, все сразу, и ночь опять стала такую же, какой была при возвращении Скруджа домой.

Скрудж запер окно и осмотрел дверь, через которую вошел дух. Она была заперта на двойной замок, повешенный им же самим, задвижка осталась нетронутой. Он попытался

было сказать «вздор», но остановился на первом же слоге, и, от волнений ли, которые он испытал, от усталости ли, оттого ли что заглянул в неведомый мир, или же вследствие разговора с духом, позднего часа, потребности в отдыхе, но он тотчас же подошел к кровати и мгновенно, даже не раздеваясь, заснул.

Строфа II. Первый дух

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из алькова, он едва мог отличить прозрачное пятно окна от темных окон своей комнаты. Он зорко всматривался в темноту своими острыми, как у хорька, глазами и слушал, как колокола на соседней церкви отбивали часы.

К его великому изумлению, тяжелый колокол ударил шесть раз, потом семь, восемь и так до двенадцати; затем все смолкло. Двенадцать! А когда он ложился, был ведь третий час. Очевидно, часы шли неправильно. Должно быть, ледяная сосулька попала в механизм. Двенадцать! Он дотронулся до пружины своих часов с репетицией, чтобы проверить те нелепые часы. Маленький быстрый пульс его часов пробил двенадцать и остановился.

– Как! Этого не может быть! – сказал Скрудж. – Не может быть, чтобы я проспал весь день да еще и порядочную часть следующей ночи! Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь произошло с солнцем и чтобы сейчас был полдень!

С этой тревожной мыслью он слез с кровати и ощупью добрался до окна. Чтобы увидеть что-нибудь, он был принужден рукавом своего халата протереть обмерзшее стекло. Но и тут он увидел не много! Он убедился только в том, что было очень тихо, туманно и чрезвычайно холодно. На улицах не было обычной суеты, бегущих пешеходов, что всегда бывало, когда день побеждал ночь и овладевал миром.

Скрудж снова лег в постель, предаваясь размышлениям о случившемся, но не мог прийти ни к какому определенному решению. Чем более он думал, тем более запутывался и, чем более старался не думать, тем более думал.

Дух Марли окончательно сбил его с толку. Как только после зрелого размышления он решал, что все это был сон, его мысль, подобно отпущенной упругой пружине, отлетала назад к первому положению, и снова предстояло решить: был ли это сон или нет?

В таком состоянии Скрудж лежал до тех пор, пока колокола не пробили еще три четверти и он вдруг не вспомнил, что, согласно предсказанию Марли, первый дух должен явиться, когда колокол пробьет час. Он решил не спать и дожидаться часа. Такое решение было, конечно, самое благоразумное, так как заснуть для него было теперь так же невозможно, как подняться на небо.

Время шло так медленно, что Скрудж подумал, что, задремав, он пропустил бой часов. Наконец, до его насторожившегося слуха донеслось:

- Динь-дон!
- Четверть, – сказал Скрудж, начиная считать.
- Динь-дон!
- Половина, – сказал Скрудж.
- Динь-дон!
- Три четверти, – сказал Скрудж.
- Динь-дон!
- Вот и час, – сказал Скрудж, – и ничего нет.

Он произнес эти слова прежде, чем колокол пробил час, – пробил как-то глухо, пусто и заунывно. В ту же минуту комната озарилась светом, и точно чья-то рука раздвинула занавески его постели в разные стороны, и именно те занавески, к которым было обращено его лицо, а не занавески в ногах или сзади. Как только они распахнулись, Скрудж приподнялся немного и в таком положении встретился с неземным гостем, который, открывая их, находился так близко к нему, как я в эту минуту мысленно нахожусь возле вас, читатель.

Это было странное существо, похожее на ребенка и вместе с тем на старика, ибо было видимо сквозь какую-то сверхъестественную среду, удалявшую и уменьшавшую его.

Его волосы падали на плечи, были седые, как у старца, но на нежном лице его не было ни единой морщины. Руки его были очень длинные, мускулисты, и в них чувствовалась гигантская сила. Ноги и ступни имели изящную форму и были голые, как руки. Он был облечен в тунику ослепительной белизны; а его стан был опоясан перевязью, сиявшей дивным блеском. В его руке была ветвь свежезеленого остролистника – эмблема зимы, – одежда же была украшена летними цветами. Но всего удивительнее было то, что от венца на его голове лились потоки света, ярко озарявшие все вокруг, и, очевидно, для этого-то света предназначался большой колпак-гасильник, который дух держал под мышкой, чтобы употребить его, когда хотел сделаться невидимым. Когда же Скрудж стал пристальнее присматриваться к призраку, то заметил еще более странные особенности его. Пояс призрака искрился и блестел то в одной части, то в другой, и то, что сейчас было ярко освещено, через мгновение становилось темным, и вся фигура призрака ежесекундно менялась: то он имел одну руку, то одну ногу, то был с двадцатью ногами, то с двумя ногами без головы, то была голова, но без туловища: то та, то другая часть его бесследно исчезала в густом мраке. Но еще удивительнее было то, что порою вся фигура призрака становилась ясной и отчетливой.

– Вы тот дух, появление которого было мне предсказано? – спросил Скрудж.

– Да.

Голос у духа был мягкий, нежный и такой тихий, что, казалось, доносился издалека, хотя дух находился возле самого Скруджа.

– Кто вы? – спросил Скрудж.

– Я дух минувшего Рождества.

– Давно минувшего? – спросил Скрудж, рассматривая его.

– Нет, твоего последнего.

Может быть, Скрудж и сам не знал, почему у него явилось странное желание видеть духа в колпаке-гасильнике, но он все-таки попросил духа надеть колпак.

– Как! – воскликнул дух. – Ты уже так скоро пожелал своими бранными руками погасить тот свет, который я распространяю? Тебе мало, что ты один из тех рабов страстей, ради которых я принужден долгие годы носить этот колпак, низко надвинув его на лоб?

Скрудж почтительно ответил, что вовсе не хотел его обидеть, что он никак не может понять, каким образом он мог служить причиной, заставившей духа носить колпак. Затем он осмелился спросить, что именно привело его сюда?

– Твое благополучие, – сказал дух.

Скрудж поблагодарил, но не мог удержаться от мысли, что спокойно проведенная ночь более способствовала бы этому благополучию. Но дух понял его мысль, ибо тотчас же сказал:

– И твое спасение.

Сказав это, он протянул свою сильную руку и ласково коснулся Скруджа:

– Встань и следуй за мною.

Скрудж чувствовал, что было бы бесполезно сказать что-нибудь в свое оправдание, что дурная погода и поздний час не годятся для прогулок, что в постели тепло, а термометр стоит ниже нуля, что он слишком легко одет – в туфлях, шлафроке и ночном колпаке – и что он нездоров. Хотя прикосновение духа было нежно, как прикосновение руки женщины, оно, однако, не допускало сопротивления. И Скрудж встал, но, увидев, что дух направился к окну, схватил его за одежду.

– Я ведь смертный, – сказал он умоляющим голосом, – и могу упасть.

– Позволь только моей руке прикоснуться к тебе, – сказал дух, кладя свою руку на сердце Скруджа, – и ты будешь вне всякой опасности.

Произнеся эти слова, дух повел Скруджа сквозь стену, и они очутились за городом на дороге, по обеим сторонам которой тянулись поля. Город исчез за ними совершенно бес-

следно, а вместе с ним исчезли и туман и мрак. Был ясный, холодный зимний день, и земля была одета снежным покровом.

– О, Боже! – воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь кругом. – Здесь, в этом месте, я родился. Здесь я рос.

Дух кротко посмотрел на него. Нежное прикосновение его, тихое и мимолетное, тронуло старое сердце. Скрудж ощутил тысячу запахов в воздухе, из которых каждый был связан с тысячью мыслей, радостей, забот и надежд, давно, давно забытых.

– Твои губы дрожат, – сказал дух. – Что такое на твоей щеке?

Запинающимся голосом Скрудж проговорил, что это прыщик, и просил духа вести его туда, куда он захочет.

– Припоминаешь ли ты эту дорогу? – спросил дух.

– О да, – с жаром произнес Скрудж. – Я прошел бы по ней с завязанными глазами.

– Странно. Прошло так много лет, а ты еще не забыл ее, – заметил дух. – Идем.

Они пошли. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Вдали показалось маленькое местечко с церковью, мостом и извирами реки. Они увидели несколько косматых пони, бегущих рысью по направлению к ним; на пони сидели мальчики, которые перекликались с другими мальчиками, сидевшими рядом с фермерами в больших одноколках и тележках. Все были веселы и, перекликаясь, наполняли звонкими голосами и смехом широкий простор полей.

– Это только тени прошлого, – сказал дух. – Они не видят и не слышат нас.

Когда веселые путешественники приблизились, Скрудж стал узнавать и каждого из них называть по имени. Почему он был так несказанно рад, видя их, почему блестели его холодные глаза, а сердце так сильно билось? Почему сердце наполнилось умилением, когда он слышал, как они поздравляли друг друга с праздником, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь в разные стороны? Что за дело было Скруджу до веселого Рождества? Прочь эти веселые праздники! Какую пользу они принесли ему?

– Школа еще не совсем опустела, – сказал дух. – Там есть заброшенный, одинокий ребенок.

Скрудж сказал, что знает это, – и зарыдал.

Они свернули с большой дороги на хорошо памятную ему тропу и скоро приблизились к дому из потемневших красных кирпичей с небольшим куполом и колоколом в нем, с флюгером на крыше. Это был большой, но уже начавший приходить в упадок дом. Стены обширных заброшенных служб были сыры и покрыты мхом, окна разбиты, и ворота полуразрушены временем. Куры кудахтали и расхаживали в конюшнях, каретные сараи и навесы зарастали травой. Внутри дома также не было прежней роскоши; войдя в мрачные сени сквозь открытые двери, они увидели много комнат, пустых и холодных, с обломками мебели. Затхлый запах сырости и земли носился в воздухе, все говорило о том, что обитатели дома часто недосыпают, встают еще при свечах и живут впроголодь.

Дух и Скрудж прошли через сени к дверям во вторую половину дома. Она открылась, и их взорам представилась длинная печальная комната, которая, от стоявших в ней простых еловых парт, казалась еще пустынее. На одной из парт, около слабого огонька, сидел одинокий мальчик и читал. Скрудж опустился на скамью и, узнав в этом бедном и забытом ребенке самого себя, заплакал.

Таинственное эхо в доме, писк и возня мыши за деревянной обшивкой стен, капанье капель из оттаявшего желоба, вздохи безлистого тополя, ленивый скрип качающейся двери в пустом амбаре и потрескивание в камине – все это отзывалось в сердце Скруджа и вызывало слезы.

Дух, прикоснувшись к нему, показал на его двойника – маленького мальчика, погруженного в чтение. Внезапно за окном появился кто-то в одежде чужестранца, явственно, точно живой, с топором, засунутым за пояс, ведущий осла, нагруженного дровами.

– Это Али-Баба! – воскликнул Скрудж в восторге. – Добрый, старый, честный Али-Баба, я узнаю его. Да! Да! Как-то на Рождество, когда вот этот забытый мальчик оставался здесь один, он, Али-Баба, явился перед ним впервые точно в таком же виде, как теперь. Бедный мальчик! А вот и Валентин, – сказал Скрудж, – и дикий брат его Орзон, вот они! А как зовут того, которого, сонного, в одном белье, перенесли к воротам Дамаска? Разве ты не видал его? А слуга султана, которого духи перевернули вниз головой, – вон и он стоит на голове! Поделом ему! Не женись на принцессе!

Как удивились бы коллеги Скруджа, услышав его, увидев его оживленное лицо, всю серьезность своего характера, расточающего на такие пустые предметы и говорящего совсем необычным голосом – голосом, похожим и на смех, и на крик.

– А вот и попугай! – воскликнул Скрудж. – Зеленое туловище, желтый хвост и на макушке хохол, похожий на лист салата! Бедный Робинзон Крузо, как он назвал Робинзона, когда тот возвратился домой, после плавания вокруг острова. «Бедный Робинзон Крузо. Где был ты, Робинзон Крузо?» Робинзон думал, что слышит это во сне, но, как известно, кричал попугай. А вот и Пятница, спасая свою жизнь, бежит к маленькой бухте! Голла! Гоп! Голла!

Затем с быстротой, совсем не свойственной его характеру, Скрудж перебил самого себя, с грустью о самом себе воскликнул: «Бедный мальчик!» – и снова заплакал.

– Мне хочется, – пробормотал Скрудж, отирая обшлагом глаза, закладывая руки в карманы и осматриваясь, – мне хочется... но нет, уже слишком поздно...

– В чем дело? – спросил дух.

– Так, – отвечал Скрудж. – Ничего. Прошлым вечером к моей двери приходил какой-то мальчик и пел, так вот мне хотелось дать ему что-нибудь... Вот и все...

Дух задумчиво улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Идем, взглянем на другой праздник!»

При этих словах двойник Скруджа увеличился, а комната сделалась темнее и грязнее; обшивка ее потрескалась, окна покосились, с потолка посыпалась штукатурка, обнаруживая голые дранки. Но, как это случилось, Скрудж знал не лучше нас с вами. Однако он знал, что это так и должно быть, – чтобы он снова остался один, а другие мальчики ушли домой радостно встречать праздник.

Он уже не читал, но уныло ходил взад и вперед. Посмотрев на духа, Скрудж печально покачал головой и беспокойно взглянул на дверь.

Дверь растворилась, и маленькая девочка, гораздо меньше мальчика, вбежала в комнату и, обвив его шею ручонками, осыпая его поцелуями, называла его милым, дорогим братом.

– Я пришла за тобою, милый брат, – сказала она. – Мы вместе поедем домой, – говорила она, хлопая маленькими ручками и приседая от смеха. – Я приехала, чтобы взять тебя домой, домой, мой!

– Домой, моя маленькая Фанни? – воскликнул мальчик.

– Да, – сказала в восторге девочка. – Домой навсегда, навсегда! Папа стал гораздо добрее, чем прежде, и у нас дома как в раю. Однажды вечером, когда я должна была идти спать, он говорил со мною так ласково, что я осмелилась попросить его послать меня за тобою в повозке. Он ответил: хорошо, – и послал меня за тобою в повозке. Ты теперь будешь настоящим мужчиной, – сказала девочка, раскрывая глаза, – и никогда не вернешься сюда. Мы будем веселиться вместе на праздниках.

– Ты говоришь совсем как взрослая, моя маленькая Фанни, – воскликнул мальчик.

Она захлопала в ладоши, засмеялась, стараясь достать до его головы, приподнялась на цыпочки, обняла его и снова засмеялась. Затем, с детской настойчивостью, она стала тащить его к двери, и он, не сопротивляясь, последовал за нею.

Какой-то страшный голос послышался в сенях: «Снесите вниз сундук Скруджа». Появился сам школьный учитель, который, посмотрев сухо и снисходительно на Скруджа, привел его в большое смущение пожатием руки. Затем он повел его вместе с сестрой в холодную комнату, напоминающую старый колодезь, где на стене висели ландкарты, а земной и небесный глобусы, стоявшие на окнах и обледеневшие, блестели, точно натертые воском. Поставив на стол графин очень легкого вина, положив кусок очень тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться. А худощавого слугу он послал предложить стакан этого вина извозчику, который поблагодарил и сказал, что если это вино то самое, которое он пил в прошлый раз, то он отказывается от него. Между тем чемодан Скруджа был привязан к крыше экипажа, и дети, радостно простясь с учителем, сели и поехали; быстро вертевшиеся колеса сбивали иней и снег с темной зелени деревьев.

– Она всегда была маленьким, хрупким существом, которое могло убить дуновение ветра, – сказал дух. – Но у нее было большое сердце!

– Да, это правда, – воскликнул Скрудж. – Ты прав. Я не отрицаю этого, дух. Нет, Боже меня сохрани!

– Она была замужем, – сказал дух, – и, кажется, у нее были дети.

– Один ребенок, – сказал Скрудж.

– Да, твой племянник, – сказал дух. Скрудж смутился и кратко ответил «да».

Прошло не более мгновения с тех пор, как они оставили школу, но они уже очутились в самых бойких улицах города, где, как призраки, двигались прохожие, ехали тележки и кареты, перебивая путь друг у друга, – в самой сутолоке большого города. По убранству лавок было видно, что наступило Рождество. Был вечер, и улицы были ярко освещены. Дух остановился у двери какого-то магазина и спросил Скруджа, знает ли он это место?

– Еще бы, – сказал Скрудж. – Разве не здесь я учился?

Они вошли. При виде старого господина в парике, сидящего за высоким бюро, который, будь он выше на два дюйма, стучался бы головой о потолок, Скрудж, в сильном волнении, закричал:

– О, да это сам старик Феззивиг! Сам Феззивиг воскрес из мертвых!

Старик Феззивиг положил перо и посмотрел на часы – часы показывали семь. Он потер руки, оправил широкий жилет, засмеялся, трясаясь всем телом, и крикнул плавным, звучным, сдобным, но приятным и веселым голосом:

– Эй, вы, там! Эбензар! Дик!

Двойник Скруджа, молодой человек, живо явился в сопровождении товарища на зов.

– Так и есть – Дик Вилкинс, – сказал Скрудж духу, – Это он. Дик очень любил меня. Дик, голубчик! Боже мой!

– Эй, вы, молодцы! – сказал Феззивиг, – Шабаш! На сегодня довольно! Ведь сегодня сочельник, Дик! Рождество завтра, Эбензар! Запирай ставни! – вскричал старик Феззивиг, громко хлопнув в ладоши. – Мигом! Живо!

Трудно себе представить ту стремительность, с какою друзья бросились на улицу за ставнями. Вы не успели бы сказать: раз, два, три – как уже ставни были на своих местах, вы не дошли бы еще до шести, как уж были заложены болты, вы не досчитали бы до двенадцати, как молодцы уже вернулись в контору, дыша точно скаковые лошади.

– Ну! – закричал Феззивиг, с удивительной ловкостью соскакивая со стула возле высокой конторки. – Убирайте все прочь, чтобы было как можно больше простора. Гоп! Гоп, Дик! Живей, Эбензар!

Все долой! Все было сделано в одно мгновение. Все, что возможно, было мгновенно убрано и исчезло с глаз долой. Пол был подметен и полит водой, лампы оправлены, в камин подброшен уголь, и магазин стал уютен, тепел и сух, точно бальный зал.

Пришел скрипач с нотами, устроился за конторкой и загудел, как полсотни расстроенных желудков. Пришла мистрис Феззивиг, сплошная добродушная улыбка. Пришли три девицы Феззивиг, цветущие и хорошенькие. Пришли шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые люди и женщины, служившие у Феззивига. Пришла служанка со своим двоюродным братом, булочником. Пришла кухарка с молочником, закадычным приятелем ее брата. Пришел мальчишка, живущий в доме через улицу, которого, как думали, хозяин держал впроголодь. Мальчишка старался спрятаться за девочку из соседнего дома, уши которой доказывали, что хозяйка любила драть их. Все вошли друг за другом: одни застенчиво, другие смело, одни – ловко, другие неуклюже; одни толкая, другие таща друг друга; но все, как-никак, все-таки вошли. И все разом, все двадцать пар, пустились танцевать, выступая вперед, отступая назад, проделывая, пара за парой, самые разнообразные фигуры. Наконец, старик Феззивиг захлопал в ладоши и, желая остановить танец, воскликнул: «Ловко! Молодцы!» Скрипач погрузил разгоряченное лицо в кружку портера, предназначенную для него. Потом, пренебрегая отдыхом, он снова появился на своем месте и тотчас же начал играть, хотя желающих танцевать еще не было, – с таким видом, точно прежнего истомленного скрипача отнесли домой на ставне, а это был новый, решившийся или превзойти того, или погибнуть.

Потом опять были танцы, дальше игра в фанты и опять танцы. Напоследок подали пирожное, глинтвейн, большой кусок холодного ростбифа, кусок холодной вареной говядины, пирожки и пиво, пиво... Но главный эффект вечера был после жаркого и вареной говядины, когда скрипач (хитрая бестия, – он знал дело гораздо лучше нас с вами!) ударил «Сэр Роджер де Коверли». Тут старик Феззивиг с мистрис Феззивиг выступили вперед, приговариваясь начать танец, и притом первой парой; но ведь это не шутка! Ведь приходилось танцевать с двадцатью тремя-четырьмя парами – и с народом, который вовсе не намеревался шутить, с народом, который хотел пуститься в пляс всюю, а не прохаживаться.

Но если бы их было вдвое более, вчетверо даже: все-таки старший Феззивиг и мистрис Феззивиг были бы на высоте своей задачи. Мистрис Феззивиг была достойной партнершей своего мужа во всех отношениях. Если же эта похвала недостаточна, скажите мне более высокую, и я охотно употреблю ее. Положительно какой-то свет брызгал от икр Феззивига! Они сверкали во всякой фигуре танца. В какой-нибудь один момент вы ни за что не угадали бы, что будет в следующий! И когда старик Феззивиг и мистрис Феззивиг проделали все па: «вперед, назад, обе руки вашему партнеру, поклон, реверанс, штопор, продевание нитки в иголку и назад, на свое место», – Феззивиг подпрыгнул так, что казалось, его ноги мигнули, и стал как вкопанный.

Когда часы проббили одиннадцать, семейный бал кончился, мистер Феззивиг с супругой заняли места по обеим сторонам двери и, пожимая руки выходящим гостям, желали им весело провести праздник. Когда все, кроме двух учеников, ушли, хозяева точно так же простились и с ними. Веселые голоса замерли, и юноши разошлись по своим кроватям в задней комнате.

Все это время Скрудж вел себя как человек, который не в своем рассудке. Его душа была погружена в созерцание своего двойника. Он смотрел, вспоминал, радовался всему и испытывал странное возбуждение. И только теперь, когда ясные лица его двойника и Дика отвернулись от него, он вспомнил про духа и почувствовал, что дух смотрит прямо на него и что на голове его горит яркий свет.

– Как мало надо для того, чтобы заслужить благодарность этих глупцов, – сказал дух.

– Мало! – повторил Скрудж.

Дух знаком заставил Скруджа прислушаться к разговору двух учеников, которые от всей души расточали похвалы и благодарности Феззивигу. И, когда Скрудж послушал, дух сказал:

– Ну не так ли? Истратил он несколько фунтов, ну, быть может, три, четыре фунта... Неужели этого достаточно, чтобы заслужить такие похвалы?

– Не в этом дело, – сказал Скрудж, задетый за живое его словами, и невольно говоря своим прежним юношеским тоном. – Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, нашу службу – радостным или несчастным бременем, наслаждением или тяжелым трудом. Допустим, что его власть заключается в каком-либо слове или взгляде – вещах столь ничтожных, незначительных и неуловимых, – но так что же? Счастье, которое он дает, так велико, что равняется стоимости целого состояния.

Он почувствовал взгляд духа и остановился.

– Что такое? – спросил дух.

– Ничего особенного, – сказал Скрудж.

– Как будто что-то случилось с вами, – настаивал дух.

– Нет, – сказал Скрудж. – Нет, мне бы хотелось сказать теперь два-три слова моему писцу. Вот и все.

Когда он говорил это, его двойник загасил лампы, и Скрудж и дух опять очутились под открытым небом.

– У меня остается мало времени, – заметил дух. – Скорее!

Слова эти не относились ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого мог видеть дух, но действие их тотчас же сказалось – Скрудж снова увидел своего двойника. Теперь он был старше, в самом расцвете лет. Черты его лица не были еще так жестки и грубы, как в последние годы, но лицо уже носило признаки забот и скупости. Глаза его бегали беспокойно и жадно, что говорило о глубоко вкоренившейся страсти, которая пойдет далеко в своем развитии.

Он был не один, он сидел рядом с красивой молодой девушкой в трауре. На глазах ее стояли слезы, блестящие в сиянии, исходившем от духа минувшего Рождества.

– Пустяки, – сказала она тихо и нежно. – Пустяки – для вас-то. Другой кумир вытеснил меня из вашего сердца. И если в будущем он даст вам утешение и радость, что постаралась бы сделать и я, мне нет причин роптать.

– Какой же это кумир? – спросил Скрудж.

– Деньги.

– В ваших словах беспристрастный приговор света! Такова людская правда! – сказал он. – Ничто не порицается так сурово, как бедность, и вместе с тем ничто так беспощадно не осуждается, как стремление к наживе.

– Вы уж слишком боитесь света, – ответила она кротко. – Все ваши другие надежды потонули в желании избежать низких упреков этого света. Я видела, как все ваши благородные стремления отпадали одно за другим, пока страсть к наживе не поглотила вас окончательно. Разве это не правда?

– Что же из того? – возразил он. – Что же из того, что я сделался гораздо умнее? Разве я переменялся по отношению к вам?

Она покачала головой.

– Переменялся?

– Союз наш был заключен давно. В те дни мы оба были молоды, всем довольны и надеялись совместным трудом улучшить со временем наше материальное положение. Но вы переменялись. В то время вы были другим.

– Я был тогда мальчишкой, – сказал Скрудж с нетерпением.

– Ваше собственное чувство подсказывает вам, что вы были не таким, как теперь, – ответила она. – Я же осталась такую же, как прежде. То, что сулило счастье, когда мы любили друг друга, теперь, когда мы чужды друг другу, предвещает горе. Как часто, с какой болью в сердце я думала об этом! Скажу одно: я уже все обдумала и решила освободить вас от вашего слова.

– Разве я просил этого?

– Словами? Нет. Никогда.

– Тогда чем же?

– Тем, что вы переменились, начиная с характера, ума и всего образа жизни, тем, что теперь другое стало для вас главной целью. Моя любовь уже ничто в ваших глазах, точно между нами ничего и не было, – сказала девушка, смотря на него кротко и твердо. – Ну скажите мне, разве вы стали бы теперь искать меня и стараться приобрести мою привязанность? Конечно, нет.

Казалось, что, даже помимо своей воли, Скрудж соглашался с этим. Однако, сделав над собою усилие, он сказал:

– Вы сами не убеждены в том, что говорите.

– Я была бы рада думать иначе, – сказала она, – но не могу – видит Бог. Когда я узнала правду, я поняла, как она сильна, непоколебима. Сделавшись сегодня или завтра свободным, разве вы женитесь на мне, бедной девушке, без всякого приданого? Разве могу я рассчитывать на это? Вы, все оценивавший при наших откровенных разговорах с точки зрения барыша! Допустим, вы бы женились, изменив своему главному принципу; но разве за этим поступком не последовало бы раскаяние и сожаление? Непременно. Итак, вы свободны, я освобождаю вас, и делаю это охотно, из-за любви к тому Скруджу, каким вы были раньше.

Он хотел было сказать что-то, но она, отвернувшись от него, продолжала:

– Может быть, воспоминание о прошлом заставляет меня надеяться, что вы будете сожалеть об этом. Но все же спустя короткое время вы с радостью отбросите всякое воспоминание обо мне, как пустой сон, от которого вы, к счастью, очнулись. Впрочем, желаю вам счастья и на том жизненном пути, по которому вы пойдете.

И они расстались.

– Дух, – сказал Скрудж, – не показывай мне больше ничего. Проводи меня домой. Неужели тебе доставляют наслаждение мои муки?

– Еще одна тень, – воскликнул дух.

– Довольно! – вскричал Скрудж. – Не надо! Не хочу ее видеть! Не надо!

Но дух остался неумолимым и, стиснув обе его руки, заставил смотреть.

Они увидели иное место и иную обстановку: комната не очень большая, но красивая и уютная; около камина сидит молодая девушка, очень похожая на ту, о которой только что шла речь. Скрудж даже не поверил, что это была другая, пока не увидел сидевшей напротив молодой девушки ее матери – пожилой женщины, в которую превратилась любимая им когда-то девушка. В соседней комнате стоял невообразимый гвалт: там было так много детей, что Скрудж, в волнении, не мог даже сосчитать их; и вели себя дети совсем не так, как те сорок детей в известной поэме, которые держали себя как один ребенок, – нет, наоборот, каждый из них старался вести себя как сорок детей. Потому-то там и стоял невообразимый гам; но, казалось, он никого не беспокоил. Напротив, мать и дочь смеялись и радовались этому от души. Последняя скоро приняла участие в игре, и маленькие разбойники начали немилосердно тормозить ее. О, как бы я желал быть на месте одного из них! Но я никогда бы не был так груб! Никогда! За сокровища целого мира я не решился бы помять этих заплетенных волос! Даже ради спасения своей жизни я не стащил бы этот маленький, бесценный башмачок! Никогда я не осмелился бы обнять этой талии, как то делало в игре дерзкое молодое племя: я бы ожидал, что в наказание за это моя рука скрючится и никогда

не выпрямится снова, и, однако, признаюсь, я дорого бы дал, чтобы прикоснуться к ее губам, спросить ее о чем-нибудь – и только для того, чтобы она раскрыла их, чтобы смотреть на ее опущенные ресницы, распустить ее волосы, самая маленькая прядь которых была бы сокровищем для меня. Словом... я желал бы иметь право хотя бы на самую ничтожную детскую вольность, но в то же время хотел бы быть и мужчиной, вполне знающим ей цену.

Но вот послышался стук в дверь – и тотчас же вслед за этим дети так ринулись к двери, что девушка со смеющимся лицом и помятым платьем, попав в самую середину раскрасневшейся буйной толпы, была подхвачена ими и вместе со всей ватагой устремилась приветствовать отца, возвратившегося домой в сопровождении человека, который нес рождественские подарки и игрушки.

Толпа детей тотчас же бросилась штурмом на беззащитного носильщика. Дети взлезали на него со стульев, заменявших им приставные лестницы, залезали к нему в карманы, тащили свертки в оберточной коричневой бумаге, крепко вцеплялись в его галстук, колотили его по спине и брыкались в приливе неудержимой радости. И с какими криками восторга развертывался каждый сверток! Какой ужас охватил всех, когда один из малюток был захвачен на месте преступления в тот момент, когда он положил кукольную сковородку в рот, и какое отчаяние вызывало подозрение, что он же проглотил игрушечного индюка, приклеенного к деревянному блюду, и как спокойно вздохнули все, когда оказалось, что все это – ложная тревога. Шум смолк, и дети постепенно стали удаляться наверх, где и улеглись спать.

Скрудж стал еще внимательнее наблюдать.

Он видел, как хозяйин, на которого нежно облокотилась дочь, сел рядом с ней и женою у камелька. Взор Скруджа омрачился, когда он представил, что это милое, прелестное существо могло называть его отцом, согреть зиму его жизни.

– Бэлла, – сказал мужчина, с улыбкой обращаясь к жене. – Сегодня я видел твоего старого друга.

– Кого?

– Угадай.

– Как же я могу! Ах, знаю, – прибавила она, отвечая на его смех. – Мистера Скруджа?

– Да. Я проходил мимо окна его конторы, и, так как оно не было заперто, а внутри горела свеча, я видел его. Его компаньон, я слышал, умер, и теперь он сидит один, совсем один в целом мире.

– Дух, – сказал Скрудж с дрожью в голосе, – уведи меня отсюда!

– Я ведь сказал тебе, что это тени минувшего, – сказал дух.

– Уведи меня! – воскликнул Скрудж. – Я не перенесу этого!

Он повернулся и встретил взгляд духа, в котором странным образом сочетались отрывки всех лиц, только что им виденных.

– Оставь меня, уведи меня, не смущай меня более!

Не высказывая ни малейшего сопротивления всем попыткам Скруджа, дух, однако, остался непоколебим, и только свет, исходивший от него, разгорался все ярче и ярче.

И, смутно сознавая, что сила духа находится в зависимости от этого света, Скрудж внезапно схватил гасильник и с силой надавил его на голову духа.

Дух съезжился под гасильником, закрывшим его всего. Несмотря на то что Скрудж надвигал гасильник со всей присущей ему силой, он все-таки не мог погасить свет, лившийся из-под него непрерывным потоком.

И вдруг он почувствовал себя в своей спальне сонным, разбитым. Сделав последнее усилие придавить гасильник, при котором совсем ослабела его рука, он, едва успев дойти до кровати, погрузился в глубокий сон.

Строфа III. Второй дух

Всхрапнув слишком громко, Скрудж внезапно очнулся и сел на кровати, чтобы собраться с мыслями. Он отлично знал, что колокол скоро пробьет час, и почувствовал, что пришел в себя именно в то время, когда предстояла беседа со вторым духом, предсказанным Яковом Марли. Скруджу очень хотелось знать, какую из занавесок теперь отодвинет призрак. Но, ощутив от такого ожидания неприятный холод, он не утерпел и сам раздвинул их, снова улегся в постель и насторожился. В момент встречи с духом он приготовился окликнуть его и тем скрыть свой страх и волнение.

Люди ловкие, умеющие найтись в каких угодно обстоятельствах, говорят, хвастаясь своими способностями, что им решительно все равно, играть ли в орлянку или убить человека, хотя между обоими этими занятиями лежит целая пропасть. Я не настаиваю на том, что это вполне применимо к Скруджу, но вместе с тем и не стал бы разубеждать вас в том, что Скрудж был настроен самым странным образом и, пожалуй, не особенно бы поразился, увидав вместо грудного младенца носорога.

Приготовясь ко всему, Скрудж, однако, никак не предполагал, что ничего не увидит, а потому, когда колокол пробил час и никто не явился, его охватила сильная дрожь. Прошло пять, десять минут, четверть часа – ничего не случилось. Скрудж продолжал лежать на своей постели, освещаемый потоком какого-то красноватого света, тревожившего его своей непонятностью гораздо более, чем появление двенадцати духов, – лежал до тех пор, пока часы не проббили час. Порой у него возникало опасение – не происходит ли уж в этот момент редкий случай самосгорания, но и это мало утешало его, так как и в этом он не был твердо убежден.

Однако он, наконец, остановился на той самой простой мысли, которая нам с вами, читатель, пришла бы в голову раньше всего. А уж это так всегда бывает: человек в чужой беде гораздо находчивее и отлично знает, что надо делать.

Итак, говорю я, Скрудж, наконец, решил, что источник и разгадка этого таинственного света находится в соседней комнате, откуда, по-видимому, и исходил свет. Когда эта мысль окончательно овладела им, он тихо встал и в туфлях подошел к двери.

В ту минуту, когда Скрудж взялся за скобку, чей-то странный голос назвал его по имени и приказал ему войти.

Он повиновался.

В том, что это была его собственная комната, не могло быть ни малейшего сомнения, но с ней произошла изумительная перемена. Стены и потолок были задрапированы живой зеленью, производя впечатление настоящей рощи; на каждой ветви ярко горели блестящие ягоды. Кудрявые листья остролиста, омелы, плюща отражали в себе свет, точно маленькие зеркала, рассеянные повсюду. В трубе камина взвивалось огромное свистящее пламя, какого эти прокопченные камни никогда не знали при Скрудже и Марли за много, много минувших зим. На полу, образуя трон, громоздились индюшки, гуси, дичь, свинина, крупные части туш, поросята, длинные гирлянды сосисок, пудинги, бочонки устриц, докрасна раскаленные каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие до приторности груши, крещенские сладкие пироги, кубки с горячим пуншем, наполнявшим комнату тусклым сладким паром. На троне свободно и непринужденно сидел приятный, веселый великан. Он держал в руке пылающий факел, похожий на рог изобилия, и высоко поднял его, так чтобы свет падал на Скруджа, когда тот подошел к двери и заглянул в комнату.

– Войди! – произнес дух. – Познакомимся поближе.

Скрудж робко вошел и опустил голову перед духом. Он не был тем угрюмым и раздражительным Скруджем, каким бывал обыкновенно. И хотя глаза духа были ясны и добры, он не хотел встречаться с ними.

– Я дух нынешнего Рождества, – сказал призрак. – Приглядишься ко мне.

Скрудж почтительно взглянул на него. Он был одет в простую длинную темно-зеленую мантию, опушенную белым мехом. Мантия висела на нем так свободно, что не вполне закрывала его широкой обнаженной груди, словно пренебрегавшей каким бы то ни было покровом. Под широкими складками мантии ноги его были также голы. На голове был венок из остролиста, усеянный сверкающими ледяными сосульками. Его темные распущенные волосы были длинны. От его широко раскрытых, искрящихся глаз, щедрой руки, радостного лица и голоса, от его свободных, непринужденных движений веяло добродушием и веселостью. На его поясе висели старинные ножны, изъеденные ржавчиной и пустые.

– Ты никогда не видал подобного мне? – воскликнул дух.

– Никогда, – отвечал Скрудж.

– Разве ты никогда не входил в общение с младшими братьями моей семьи, рожденными в последние годы и из которых я самый младший? – продолжал дух.

– Кажется, нет, – сказал Скрудж. – Много ли у тебя братьев, дух?

– Более тысячи восьмисот, – сказал дух.

– Вот так семья! – проворчал Скрудж. – Попробуй-ка ее прокормить!

Дух нынешнего Рождества встал.

– Дух, – сказал покорно Скрудж, – веди меня, куда хочешь. По воле духа, я простоял всю прошлую ночь и признаюсь, полученный мною урок не пропал даром. Позволь же мне и в эту ночь воспользоваться твоими поучениями.

– Прикоснись к моей одежде.

Скрудж исполнил приказание духа, крепко ухватившись за его мантию.

Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индюшки, гуси, дичь, свинина, мясо, поросята, сосиски, устрицы, пудинг, плоды, пунш – все мгновенно исчезло. Скрылась и комната, огонь, поток красноватого света, исчезла ночь, и они очутились в рождественское утро на улицах города, где рабочие с резкими, но приятными звуками счищали с тротуаров и крыш домов снег, который, падая вниз на улицу, рассыпался снежной пылью, приводя в восторг мальчишек.

Окна мрачных стен домов казались еще мрачнее от гладкой белой пелены снега на крышах домов и грязного снега на земле, который тяжелыми колесами карет и ломовых фур был изрыт, точно плугом, – глубокие борозды пересекались в разных направлениях по сто раз одна с другой, особенно на перекрестках улиц, где они так перепутались в желтой густой, ледяной слякоти, что их невозможно было отграничить.

Небо было пасмурно, и даже самые короткие улицы задыхались от темной влажно-ледяной мглы, насквозь пропитанной сажой дымовых труб, частицы которой вместе с туманом спускались вниз. Казалось, все трубы Великобритании составили заговор и дымили вовсю.

Несмотря на то что ни в погоде, ни в городе не было ничего веселого, в воздухе веяло чем-то радостным, чего не могли дать ни летний воздух, ни самый яркий блеск солнца.

Люди, счищавшие снег с крыш, были радостны и веселы; они перекликались друг с другом из-за перил, перебрасывались снежками – перестрелка более невинная, чем шутки словесные, – и одинаково добродушно смеялись, когда снежки попадали в цель и когда пролетали мимо.

Между тем как лавки с битой птицей были еще не вполне открыты, фруктовые уже сияли во всем своем великолепии. Расставленные в них круглые пузатые корзины с каштанами походили на жилеты веселых пожилых джентльменов, которые вследствие своей

чрезмерной полноты подвержены апоплексии и которые, развалившись у дверей, точно собираются выйти на улицу. Смуглый, красноватый испанский лук, напоминающий своей толщиной испанских монахов, с лукаво игривой улыбкой посматривал с полок на проходивших девушек и с напускной скромностью – на висящие сверху омелы. Груши и яблоки были сложены в цветистые пирамиды. Прихотью лавочников кисти винограда были развешены весьма затейливо, весьма соблазнительно для прохожих. Груды коричневых, обросших мхом лесных орехов своим благоуханием заставляли вспоминать былые прогулки в лесу, когда доставляло такое наслаждение утопать ногами в сухих листьях. Пухлые сушеные яблоки из Норфолка, смуглым цветом еще резче оттенявшие желтизну апельсинов и лимонов, были сочны и мясисты и, казалось, так и просились, чтобы их, в бумажных мешках, разнесли по домам и съели после обеда. Даже золотые и серебряные рыбы, выставленные в чашке среди этих отборных фруктов – тупые существа с холодной кровью, – кругообразно и беззаботно плавая в своем маленьком мирке друг за другом и открывая рот при дыхании, казалось, знали, что творится нечто необычное.

А лавки колониальных товаров! Они еще заперты. Быть может, снята только одна-другая ставня. Но чего-чего не увидишь там, хотя бы мельком заглянув в окна!

Чашки весов с веселым звуком спускались на прилавок, бечевки быстро разматывались с катушки, жестянки с громом передвигались, точно по мановению фокусника, смешанный запах кофе и чаю так приятно щекотал обоняние. А какое множество чудесного изюма, какая белизна миндаля, сколько длинных и прямых палочек корицы, обсахаренных фруктов и других пряностей! Ведь от одного этого самый равнодушный зритель почувствовал бы истому и тошноту! Винные ягоды сочны и мясисты, французский кислый чернослив скромно румянится в разукрашенных ящиках – все, все в своем праздничном убранстве приобретало особый вкус!

Но этого мало. Надо было видеть покупателей! В ожидании праздничных удовольствий, они так суетились и спешили, что натыкались друг на друга в дверях (причем их ивовые корзины трещали самым ужасным образом), забывали покупки на прилавках, прибегали за ними обратно и проделывали сотни подобных оплошностей, не теряя, однако, прекрасного расположения духа.

Но скоро с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви и часовни, и толпа, разодетая в лучшее платье, с радостными лицами, двинулась по улицам. Тотчас же из многочисленных улиц, неведомых переулков появилось множество людей, несших в булочные свой обед. Вид этих бедняков, которые тоже собирались покутить, очень занимал духа, и он, остановясь у входа булочной и снимая крышки с блюд, когда приносившие обеды приближались к нему, окуривал ладаном своего факела их обеды. Это был удивительный факел: всякий раз, когда прохожие, натолкнувшись один на другого, начинали ссориться, достаточно было духу излить на них несколько капель воды из своего факела, чтобы тотчас же все снова становилось добродушными и сознавались, что стыдно ссориться в день Рождества. И поистине они были правы.

Спустя некоторое время колокола смолкли, булочники закрыли лавки. Над каждой печкой остались следы в виде влажных талых пятен, глядя на которые было приятно думать об успешном приготовлении обедов. Тротуары дымились, словно самые камни варились.

– Разве еда приобретает особый вкус от того, что ты брызгаешь на нее? – спросил Скрудж.

– Да. Вкус присущий только мне.

– Всякий ли обед сегодня может приобрести такой вкус?

– Всякий, который дают радушно. Особенно же обеды бедных людей.

– Почему? – спросил Скрудж.

– Потому что бедняки нуждаются в обеде более чем кто-либо другой.

– Дух, – сказал Скрудж, после минутного раздумья. – Меня удивляет, почему из всех существ бесчисленных миров, которые окружают нас, именно ты препятствуешь этим людям пользоваться иногда самыми невинными наслаждениями.

– Я? – воскликнул дух.

– Ты даже не допускаешь, чтобы они обедали каждое воскресенье, а ведь только в этот день они, можно сказать, обедают по-человечески, – сказал Скрудж.

– Я? – воскликнул дух.

– Да ведь ты же стараешься, чтобы по воскресеньям эти места были закрыты, – сказал Скрудж.

– Я стараюсь? – воскликнул дух.

– Если я неправ, прости меня. По крайней мере это делается от твоего имени или от имени твоей семьи, – сказал Скрудж.

– Много людей на земле, – возразил дух, – которые нашим именем совершают дела, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, зависти, ханжества и себялюбия. Но люди эти нам чужды. Помни это и обвиняй их, а не нас.

Скрудж обещал, и они, оставаясь так же, как и прежде, невидимыми, направились в предместья города. Дух обладал замечательным свойством, заключавшимся в том (Скрудж заметил это в булочной), что, несмотря на свой гигантский рост, мог легко приспособиться ко всякому месту и так же удобно помещаться под низкой крышей, как и в высоком зале. Может быть, желание проявить это свойство, в чем добрый дух находил удовольствие, а может быть, его великодушие и сердечная доброта привели его к писцу Скруджа, в дом которого он вошел вместе со Скруджем, державшимся за его одежду. На пороге двери дух улыбнулся и остановился, дабы кропанием из факела благословить жилище Боба Крэтчита. Ведь только подумать! Боб зарабатывал всего пятнадцать шиллингов в неделю; в субботу он положил в карман пятьдесят монет, носивших его же имя «Боб»¹,–и, однако, дух благословил его дом, состоявший всего из четырех комнат. В это время мистрис Крэтчит встала. Она была бедно одета в платье уже вывернутое два раза, но украшенное дешевыми лентами, которые для шести пенсов, заплаченных за них, были положительно хороши. Со второй своей дочерью, Белиндой, которая также была разукрашена лентами, она накрыла стол. Петр погрузил вилку в кастрюльку с картофелем и, несмотря на то, что углы его большого воротника (воротник этот принадлежал Бобу, который по случаю праздника передал его своему сыну и наследнику) лезли ему в рот, очень радовался своему элегантному платью и охотно показал бы свое белье даже где-нибудь в модном парке. Два маленьких Крэтчита, мальчик и девочка, сломя голову вбежали в комнату с криками, что из пекарни они слышат запах своего гуся. Мечтая с восхищением о шалфее и луке, маленькие Крэтчиты начали танцевать вокруг стола и превозносить до небес Петра Крэтчита, который, несмотря на то что воротнички окончательно задушили его, продолжал раздувать огонь до тех пор, пока неповоротливый картофель не стал пускать пузыри, а крышка со стуком подпрыгивать, – знак, что наступило время вынуть и очистить его.

– Что случилось с вашим отцом и братом, Тайни-Тимом? – спросила мистрис Крэтчит. – Да и Марта в прошлое Рождество пришла раньше на полчаса.

– А вот и я, мама! – сказала, входя, девушка.

– Вот и Марта, – закричали два маленьких Крэтчита. – Ура! Какой гусь у нас будет, Марта!..

– Что же это ты так запоздала, дорогая? Бог с тобою! – сказала мистрис Крэтчит, целуя дочь без конца и с ласковой заботливостью снимая с нее шаль и шляпу.

¹ «Боб» – народное название шиллинга (прим. перев.).

– Накануне было много работы, – ответила девушка, – кое-что пришлось закончить сегодня утром.

– Все хорошо, раз ты пришла, – сказала мистрис Крэтчит. – Присядь к огню и погрейся, милая моя. Да благословит тебя Бог!

– Нет, нет! – закричали два маленьких Крэтчита, которые попевали всюду. – Вот идет отец! Спрячься, Марта, спрячься!

Марта спряталась. Вошел сам миленький Боб, закутанный в свой шарф длиною в три фута, не считая бахромы. Платье его, хотя и было заштопано и чищено, имело приличный вид. На его плече сидел Тайни-Тим. Увы, он носил костыль, а на его ножки были положены железные повязки.

– А где же наша Марта? – вскричал Боб Крэтчит, осматриваясь.

– Она еще не пришла, – сказала мистрис Крэтчит.

– Не пришла, – сказал Боб, мгновенно делаясь грустным. Он был разгорячен, так как всю дорогу от церкви служил конем для Тайни-Тима. – Не пришла в день Рождества!

Хотя Маргарита сделала все это в шутку, она не вынесла его огорчения и, не утерпев, преждевременно вышла из-за двери шкапа и бросилась к отцу в объятия. Два маленьких Крэтчита унесли Тайни-Тима в прачечную послушать как поет пудинг в котле.

– А как вел себя маленький Тайни-Тим? – спросила мистрис Крэтчит, подшучивая над легковерием Боба, после того как он долго целовался с дочерью.

– Прекрасно, – сказал Боб. – Это золотой ребенок. Он становится задумчивым от долгого одиночества и потому ему приходят в голову неслыханные вещи. Когда мы возвращались, он рассказал мне, что люди в церкви при виде его убожества с радостью вспомнили о Рождестве и о том, кто исцелял хромых и слепых. – Все это Боб говорил с дрожью в голосе и волнением, которое еще более усилилось, когда он выражал надежду, что Тайни-Тим будет здоров и крепок.

По полу раздался проворный стук его костыля, и не успели сказать и одного слова, как Тайни-Тим вместе со своим братом и сестрой вернулся к своему столу, стоявшему возле камина, – как раз в то время, когда Боб, засучив рукава (Бедняк! Он воображал, что их возможно износить еще более!), составлял в глиняном кувшине какую-то горячую смесь из джина и лимонов, которую, размешав, он поставил на горячее место на камине. Петр и два маленьких Крэтчита отправились за гусем, с которым скоро торжественно и вернулись.

С появлением гуся началась такая суматоха, что можно было подумать, что гусь самая редкая птица из всех пернатых – чудо, в сравнении с которым черный лебедь самая заурядная вещь. И действительно, гусь был большой редкостью в этом доме.

Заранее приготовленный в кастрюльке соус мистрис Крэтчит нагрела до того, что он шипел, Петр во всю мочь хлопотал с картофелем, мисс Белинда подслащивала яблочный соус, Марта вытирала разогретые тарелки. Взяв Тайни-Тима, Боб посадил его за стол рядом с собою на углу стола. Два маленьких Крэтчита поставили стулья для всех, не забыв, впрочем, самих себя, и, заняв свои места, засунули ложки в рот, чтобы не просить гуся раньше очереди.

Наконец блюда были расставлены и прочитана молитва перед обедом. Все, затаив дыхание, замолчали. Мистрис Крэтчит, тщательно осмотрев большой нож, приготовилась разрезать гуся, и, когда после этого брызнула давно ожидаемая начинка, вокруг поднялся такой шепот восторга, что даже Тайни-Тим, подстрекаемый двумя маленькими Крэтчитами, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голосом закричал: «Ура!»

Нет, никогда не было такого гуся! По уверению Боба, невозможно и поверить тому, что когда-либо к столу приготавливался такой гусь. Его нежный вкус, величина и дешевизна возбуждали всеобщий восторг. Приправленный яблочным соусом и протертым картофелем, гусь составил обед для целой семьи. Увидев на блюде оставшуюся небольшую косточку,

мистрис Крэтчит заметила, что гуся съели не всего. Однако все были сыты, и особенно маленькие Крэтчиты, которые сплошь выпачкали лица луком и шалфеем. Но вот Белинда перемыла тарелки, а мистрис Крэтчит выбежала из комнаты за пудингом, взволнованная и смущенная.

– А что, если он не дожарился? А что, если развалился? Что, если кто-нибудь перелез через стену заднего двора и украл его, когда они ели гуся. – Это были такие предположения, от которых два маленьких Крэтчита побледнели как смерть. Приходили в голову всевозможные ужасы.

Целое облако пару! Пудинг вынули из котелка, и от салфетки вошел такой запах мокрого белья, что казалось, будто рядом с кондитерской и кухмистерской была прачечная. Да, это был пудинг! Спустя пол минуты явилась мистрис Крэтчит, раскрасневшаяся и гордо улыбающаяся, с пудингом, похожим на пестрое пушечное ядро, крепким и твердым, кругом которого пылал ром, а на вершине в виде украшения был пучок остролиста.

Какой дивный пудинг! Боб Крэтчит заметил – и притом спокойно, – что мистрис Крэтчит со времени их свадьбы ни в чем не достигала такого совершенства.

Почувствовав облегчение, мистрис Крэтчит призналась в том, что она очень боялась, что положила не то количество муки, которое было нужно. Каждый мог что-либо сказать, но все воздержались даже от мысли, что для такой большой семьи пудинг недостаточно велик, хотя все сознавали это. Разве можно было сказать что-нибудь подобное? Никто даже не намекнул на это.

Наконец, обед кончен, скатерть убрана со стола, камин вычищен и затоплен. Отведав смесь в кувшине, все нашли ее превосходной; яблоки и апельсины были выложены на стол, и совок каштанов был брошен на огонь. Потом вся семья собралась вокруг камина, расположившись таким порядком, который Боб называл «кругом», подразумевая полукруг, и была выставлена вся стеклянная посуда: два стакана и стеклянная чашка без ручки.

Но посуда эта вмещала все содержимое из кувшина не хуже золотых кубков. Каштаны брызгали и шумно потрескивали, пока Боб с сияющим лицом разливал напиток.

– С праздником вас, с радостью, дорогие! Да благословит вас Бог!

Вся семья и последним Тайни-Тим повторили это восклицание.

Тайни-Тим сидел рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб любовно держал его худую ручку в своей руке, точно боялся, что его отнимут у него, и хотел удержать.

– Дух, – сказал Скрудж с участием, которого раньше никогда не испытывал, – скажи, будет ли жив Тайни-Тим?

– В уголке, возле камина, я вижу пустой стул, – ответил дух, – и костыль, который так заботливо оберегают! Если тени не изменятся, ребенок умрет.

– Нет, нет! – воскликнул Скрудж. – О нет! Добрый дух, скажи, что смерть пощадит его.

– Если тени не изменятся, дух будущего Рождества уже не встретит его здесь, – сказал дух. – Что же из того? Если он умрет, он сделает самое лучшее, ибо убавит излишек населения.

Скрудж склонил голову, услышав свои собственные слова, и почувствовал печаль и раскаяние.

– Человек, – сказал дух, – если в тебе сердце, а не камень, воздержись от нечестивых слов, пока не узнаешь, что такое излишек населения. Тебе ли решать, какие люди должны жить, какие умирать? Перед очами Бога, может быть, ты более недостойный и имеешь меньше права на жизнь, чем миллионы подобных ребенку этого бедняка. Боже! Каково слушать букашку, рассуждающую о таких же, как она сама, букашках, живущих в пыли и прахе!

Скрудж, дрожа, наклонил голову и опустил глаза. Но он снова быстро поднял их, услышав свое имя.

– За мистера Скруджа! – сказал Боб. – Пью за здоровье Скруджа, виновника этого праздника.

– Действительно, виновник праздника! – воскликнула мистрис Крэтчит, краснея. – Как бы я хотела, чтобы он был здесь. Я бы все высказала ему откровенно, и думаю, мои слова не пришлись бы ему по вкусу.

– Дорогая моя, – сказал Боб, – ведь сегодня день Рождества!

– Конечно, – сказала она, – только ради такого дня и можно выпить за здоровье такого противного, жадного и бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Никто лучше тебя не знает его, бедный Роберт!

– Дорогая, – кротко ответил Боб, – ведь сегодня Рождество!

– Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье, – сказала мистрис Крэтчит, – но не ради Скруджа. Дай Бог ему подольше пожить! Радостно встретить праздник и счастливо провести Новый год! Я не сомневаюсь, что он будет весел и счастлив!

После нее выпили и дети. Это было первое, что они сделали без обычной сердечности. Тайни-Тим выпил последним, оставаясь совершенно равнодушным к тосту. Скрудж был истым чудовищем для всей семьи, упоминание его имени черной тенью осенило всех присутствующих, и эта тень не рассеивалась целых десять минут.

Но после того, как они отделались от воспоминаний о Скрудже, они почувствовали такое облегчение, что стали в десять раз веселее.

Боб сказал, что имеет в виду место для Петра, и если удастся получить это место, то оно будет приносить еженедельно пять шиллингов и шесть пенсов.

Два маленьких Крэтчита страшно смеялись при мысли о том, что вдруг Петр станет дельцом; а сам Петр задумчиво смотрел из-за своих воротничков на огонь, точно соображая, куда лучше поместить капитал, с которого он будет получать фантастический доход. Марта, служившая ученицей у модистки, рассказала о своих работах, о количестве часов, которые она работала подряд, и мечтала о том, как завтра она будет долго лежать в постели и наслаждаться отдыхом.

Завтра праздник, и она проведет его со своими. Она рассказывала еще о том, как несколько дней тому назад видела лорда, который был так же высок ростом, как Петр; при этом Петр так высоко подтянул воротнички, что почти не стало видно его головы. Все это время каштаны и кружка переходили из рук в руки, а вскоре Тайни-Тим запел песню о заблудившемся в снегах ребенке – запел маленьким жалобным голоском, но поистине чудесно.

Во всем этом празднике не было ничего особенного. Одеты все были бедно, красивых лиц не было. Башмаки были худы, промокали, платья поношены, и очень вероятно, что Петр отлично знал, где закладывают вещи. Но все были счастливы, довольны, благодарны друг другу, и когда исчезали в ярких потоках света, исходивших из факела духа, то казались еще счастливее, и Скрудж до последней минуты своего пребывания у Боба не спускал глаз с его семьи, а особенно с Тайни-Тима.

Тем временем стало темно и пошел довольно сильный снег. В кухнях, гостиных и других покоях домов чудесно блестели огни, когда Скрудж и дух проходили по улицам. Там, при колеблющемся свете камина, шли, очевидно, приготовления к приятному обеду с горячими тарелками, насквозь прохваченными жаром; там, чтобы заградить доступ мраку и холоду, можно было во всякий момент опустить темно-красные гардины. Там все дети выбежали на улицу, в снег, встретить своих веселых сестер, братьев, кузин, дядей и теток и первыми повидаться с ними. Там, напротив, на оконных шторах ложатся тени собравшихся гостей; а здесь толпа девушек, наперебой болтающих друг с другом, перебегают легкими шагами в соседний дом – и плохо тому холостяку, который увидит их с пылающими от мороза лицами, – а об этом хорошо знают коварные чародейки!

Судя по множеству людей, шедших в гости, можно было подумать, что никого не осталось дома и некому было встречать гостей, которых, однако, ожидали повсюду, затопив камин. Дух радостно благословлял все. Обнажив свою широкую грудь и большую длань, он понесся вперед, изливая по пути чистые радости на каждого.

Даже фонарщик, усеивающий сумрачную улицу пятнами света, оделся в праздничное платье в чаянии провести вечер где-нибудь в гостях, и громко смеялся, когда проходил дух, впрочем нимало не подозревая об этом.

Но вот, без всякого предупреждения со стороны духа, они остановились среди холодного пустынного болота, где громоздились чудовищные массы грубого камня, точно это было кладбище гигантов; вода здесь разливалась бы где только возможно, если бы ее не сковал мороз. Здесь не росло ничего, кроме мха, вереска и жесткой густой травы. Заходящее на западе солнце оставило огненную полосу, которая, на мгновение осветив пустыню и все более и более хмурясь, подобно угрюмому глазу, потерялась в густом мраке темной ночи.

– Что это за место? – спросил Скрудж.

– Здесь живут рудокопы, работающие в недрах земли, – отозвался дух. – И они знают меня. Смотри.

В окнах хижины блеснул свет, и они быстро подошли к ней. Пройдя через стену, сложенную из камня и глины, они застали веселую компанию, собравшуюся у пылающего огня и состоявшую из очень старого мужчины и женщины с детьми, внуками и правнуками. Все были одеты по-праздничному. Старик пел рождественскую песнь, и его голос изредка выделялся среди воя ветра, разносясь в бесплодной пустыне.

То была старинная песня, которую он пел еще мальчиком; время от времени все голоса сливались в один хор. И всякий раз, когда они возвышались, старик становился бодрее и радостнее и смолкал, как только они упали.

Дух недолго оставался в этом месте и, приказав Скруджу держаться за его одежду, полетел над болотом. Но куда он спешил? Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж с ужасом увидел конец суши, ряд страшных скал; он был оглушен неистовым гулом волн, которые крутились, бушевали и ревели среди черных пещер, выдолбленных ими, и так яростно грызли землю, точно хотели срыть ее до основания. Но на мрачной гряде подводных скал в нескольких милях от берега, где весь год бешено билось и кипело море, стоял одинокий маяк. Множество морских водорослей прилипало к его подножию, и буревестники, рожденные морским ветром, как водоросли – морской водой, поднимались и падали вокруг него, подобно волнам, которых они чуть касались крыльями.

Но даже и здесь два человека, сторожившие маяк, развели огонь, который сквозь оконце в толстой стене проливал луч света на грозное море. Протянув друг другу мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели с кружками грога, они поздравляли друг друга с праздником: тот, который был старше и лицо которого от суровой непогоды было покрыто рубцами, как лица фигур на носках старых кораблей, затянул удалую песню, звучавшую как буря.

Снова понесся дух над черным взволнованным морем, все дальше и дальше, пока, наконец, далеко от берега они не опустились на какое-то судно. Они побывали позади кормчего, занимающего свое обычное место, часового на носу, офицеров на вахте, стоявших на своих постах подобно призракам. Каждый из них думал о Рождестве, тихонько напевал рождественскую песнь или рассказывал вполголоса своему товарищу о прошедших праздниках и делился своими мечтами о родине, тесно связанными с этими праздниками. Каждый из бывших на корабле моряков, бодрствовал он или спал, был ли добр или зол, каждый в этот день становился ласковее и добрее, чем когда-либо, и вспоминал о тех далеких людях, которых он любил, веря, что и им отрадно думать о нем.

Прислушиваясь к завываниям ветра, Скрудж думал о том, как сильно должно поражать сознание, что ты несешься сквозь безлюдную тьму над неведомой бездной, глубины которой таинственны, как смерть. Занятый такими мыслями, Скрудж очень удивился, услышав вдруг искренний смех, и удивился еще более, когда узнал смех своего племянника и очутился в теплой, ярко освещенной комнате рядом с духом, который приветливо улыбался его племяннику.

– Ха! Ха! – смеялся тот, – Ха-ха-ха!

Если вам, благодаря какому-либо невероятному случаю приходилось знать человека, превосходящего племянника Скруджа способностью так искренно смеяться, то я скажу, что охотно познакомился бы и постарался сблизиться с ним.

Как прекрасно и целесообразно устроено все на свете! Заразительны печали и болезни, но ничто так не заражает, как смех и веселость. Вслед за своим мужем, который смеялся, держась за бока и корча всевозможные гримасы, не менее искренно смеялась жена. Собравшиеся гости также не отставали от них:

– Ха-ха-ха-ха!

– Он сказал, что Рождество вздор! Честное слово! – вскричал племянник Скруджа. – Мало того, он твердо убежден в этом!

– Тем стыднее для него! – с негодованием сказала племянница Скруджа. – Да благословит Бог женщин: они никогда ничего не делают наполовину и ко всему относятся серьезно.

Жена племянника Скруджа была очень хорошенькая женщина. Ее личико с ямочками на щеках, несколько удивленным выражением, ярким маленьким ротиком, точно созданным для поцелуев и который, конечно, часто целовали, – было очень привлекательно. Прелестные маленькие пятнышки на подбородке сливались, когда она начинала смеяться, а пару таких блестящих глаз вам вряд ли случалось видеть. Словом, она была очень пикантна, и никто не пожалел бы, познакомившись с ней поближе.

– О, он забавный старик, – сказал племянник Скруджа, – это правда, и не так приятен, как мог бы быть. Я не упрекаю его: за свои ошибки он сам же и получает должное.

– Я уверена, что он очень богат, – попробовала намекнуть племянница Скруджа. – По крайней мере ты всегда уверяешь в этом.

– Что же из того, дорогая, – сказал племянник Скруджа, – его богатство не приносит ему никакой пользы. Что хорошего он из него извлек? Он не видит от него никакой радости. Его нисколько не утешает мысль, что он мог бы осчастливить нас своим богатством. Ха-ха-ха!

– Невыносимый человек, – заметила племянница Скруджа. И сестры ее и все другие женщины присоединились к ее мнению.

– Нет, я не согласен с этим, – сказал племянник Скруджа. – Мне жаль его. Я не мог бы на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его чудачеств? Только он сам. Видите ли, он забрал себе в голову, что не расположен к нам, и не хочет прийти обедать. Ну и что же? Он же и теряет, хотя, правда, не много.

– А по-моему, он лишился очень хорошего обеда, – прервала племянница Скруджа.

Все подтвердили ее слова, и с тем большим основанием, что обед был кончен, и все собрались вокруг стола за десертом при свете лампы.

– Мне очень приятно это слышать, – сказал племянник Скруджа, – ибо я не очень-то доверяю искусству молодых хозяек. Вы что скажете, Топпер?

Очевидно имея виды на одну из сестер племянницы Скруджа, Топпер ответил, что холостяк – человек жалкий, отверженный и не имеет права выражать своего мнения по этому поводу. Одна из сестер племянницы Скруджа, полная девушка в кружевной косынке (не та, у которой были розы), покраснела при этих словах.

– Продолжай же, Фред, – сказала племянница Скруджа, захлопав в ладоши. – Никогда он не договаривает того, что начнет. Смешной человек!

Снова племянник Скруджа так расхохотался, что невозможно было не заразиться его весельем. Все единодушно последовали его примеру, хотя сестра племянницы Скруджа, полная девушка, желая удержаться от смеха, усиленно нюхала ароматический уксус.

– Я хотел только сказать, – промолвил племянник Скруджа, – что следствием его нерасположения к нам и нежелания повеселиться вместе с нами выходит то, что он теряет много прекрасных минут, которые, конечно, не принесли бы ему вреда. Все же я думаю, ему гораздо интереснее было бы посетить нас, чем носиться со своими мыслями или сидеть в затхлой старой конторе или пыльных комнатах. Мне жаль его, а потому ежегодно я намерен приглашать его к нам, не обращая внимания на то, нравится ли это ему или нет. Пусть до самой смерти он относится с Рождеству так, как теперь; не считаясь с этим, а все-таки ежегодно буду приходить к нему и радостно спрашивать: «Как ваше здоровье, дядюшка?..» И, надеюсь, он переменит, наконец, о нем мнение. И если, под влиянием этого, он оставит своему бедному писцу 50 фунтов стерлингов после смерти, то и этого будет довольно с меня. Думаю, что вчера мои слова тронули его.

Все засмеялись при последних словах. Но, будучи предобродушно настроен и несколько не смущаясь тем, что смеются над ним, лишь бы только смеялись, племянник Скруджа поощрял их в этом веселье, передавая с сияющим видом из рук в руки бутылку вина.

Семья была музыкальна, и сейчас же после чая началась музыка. Все отлично знали свое дело, а особенно Топпер, который во время исполнения хоровой песни и канона рычал басом, даже не покраснев и не напряжив толстых жил на лбу. Племянница Скруджа хорошо играла на арфе и среди других пьес исполнила простую коротенькую песенку (ее можно было выучиться насвистывать в две минуты), знакомую даже тому маленькому ребенку, который приезжал за Скруджем в пансион, как об этом ему напомнил дух минувшего Рождества.

Когда раздалась эта мелодичная песенка, Скрудж вспомнил все то, что показал ему дух. Песенка очень растрогала его, и он подумал, что, если бы он прежде слышал ее чаще, он относился бы сердечнее к людям и достиг бы счастья и без помощи могильщика, закопавшего тело Якова Марли. Но музыке был посвящен не весь вечер. Спустя некоторое время начали играть в фанты. Хорошо иногда сделаться детьми, а лучше всего быть ими в дни Рождества, когда сам Великий Основатель его был ребенком. Сначала, разумеется, играли в жмурки. Я так же мало верю тому, что глаза Топпера были завязаны, как тому, что они были у него в сапогах. Между Топпером и племянником Скруджа был, очевидно, уговор помогать друг другу, о чем знал и дух Рождества. Уже одно то, как он ловил полную сестру племянницы Скруджа, было издевательством над человеческой доверчивостью. Преследуя ее повсюду, он опрокидывал каминные принадлежности, спотыкался о стулья, наталкивался на фортепиано, запутывался в занавесах; он всегда знал, где она, и ловил только ее одну. Если бы вы умышленно старались попасться ему под руку (что и делали некоторые), он сделал бы вид, что ловит вас, а на деле стремился бы только к полной девушке. Она все кричала, что это нечестно, и была, конечно, права. Но, наконец, он поймал ее, загнав в угол, откуда не было выхода, несмотря на все старания ее пропорхнуть мимо него, шурша шелковым платьем. Здесь поведение его стало еще возмутительнее! Он притворился, что не узнает ее. Ему, видите ли, надо было дотронуться до нее, чтобы убедиться в этом, ощупать кольцо на ее руке или цепочку на ее шее. Гадко и омерзительно! Воспользовавшись моментом, когда ловил другой, а они оставались наедине за занавесками, она, конечно, откровенно высказала ему свое мнение о его поведении.

Усевшись на большом стуле в уютном уголке и поставив ноги на скамейку, племянница Скруджа совсем не играла в жмурки. Позади нее стояли дух и Скрудж. В фанты же играла и она – и играла действительно искусно. Когда она играла в игру «Как, когда и где», она, к великому удовольствию своего мужа, перешеголяла своих сестер, несмотря на то что и они были очень находчивы в этой игре, – это мог подтвердить и сам Топпер. Скрудж также принимал участие в игре, ибо играли все присутствующие двадцать человек, молодые и старые. Играя, Скрудж иногда совершенно забывал о том, что не слышно его голоса, и часто вслух давал верные советы. Порой ни одна иголка самого лучшего изделия не могла своей остротой превзойти Скруджа, хотя он и делал вид, что мало догадлив.

Дух был очень доволен настроением Скруджа и так ласково смотрел на него, что тот, как мальчик, просил еще побыть здесь до тех пор, пока гости не разойдутся. Однако дух не согласился.

– Начинается новая игра, – сказал Скрудж – Еще полчаса, дух.

Игра называлась «Да и нет». Все должны были отгадать то, что задумывал племянник Скруджа.

На вопрос он имел право отвечать только словами: «да» и «нет». На него полился целый поток вопросов – и выяснялось, что задумал он животное, не совсем приятное, дикое, которое иногда рычит и хрюкает, иногда говорит, проживает в Лондоне и расхаживает по улицам, – животное, которого не показывают, не держат в зверинце и не предназначают на убой, которое – ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, который предлагали загадавшему, он разражался звонким смехом, точно его щекотали, и в припадке такого смеха соскакивал с дивана и топал ногами.

– Угадала, знаю, Фред, что это, – воскликнула, наконец, полная девушка, сестра племянницы Скруджа, разразившись таким же смехом. – Знаю!

– Что? – воскликнул Фред.

– Ваш дядя Скрудж.

Она угадала. Все были в восторге. Некоторые, впрочем, заметили, что на вопрос: «Медведь ли это?» надо было ответить «да», а отрицательный ответ повел к тому, что отвлек мысли от Скруджа, хотя многие и думали о нем.

– Мы уж достаточно повеселились по его милости, – сказал Фред. – В благодарность за это удовольствие выпьем за его здоровье. Вот стакан глинтвейна. Итак: за здоровье дяди Скруджа!

– Прекрасно! За здоровье дяди Скруджа! – воскликнули все.

– Желаем ему радостно встретить праздник. Каков бы ни был старик Скрудж, мы желаем ему счастливого Нового года! – сказал племянник Скруджа.

Незаметно для самого себя дядя Скрудж сделался так весел, и на душе у него стало так радостно, что он, если бы дух не торопил его, с удовольствием ответил бы тостом всем присутствующим, которые и не подозревали, что он находится среди них... Но все исчезло раньше, чем племянник Скруджа договорил последние слова. Скрудж и дух снова уже были в пути.

Чего-чего они не видали в своих долгих странствованиях! Они посетили множество домов, всюду принося счастье: останавливались у кроватей больных – и дух облегчал их страдания, те же, которые были в чужих странах, чувствовали себя, благодаря ему, как на родине. В людей борьбы дух вселял надежды, бедные чувствовали себя в его присутствии богатыми. В богадельне, госпитале, тюрьме, в притонах нищеты – везде, где только человек не закрывал дверей перед духом, он рассыпал свои благословения и поучал Скруджа.

Если только все это совершилось в одну ночь, то ночь эта была очень длинна – казалось, что она вместила в себя много рождественских ночей. Странно было то, что в то время, как Скрудж оставался таким, каким был, дух, видимо, старел. Заметив в нем эту перемену, Скрудж, однако, ничего не сказал о ней до того момента, как они вышли из дома, где была детская вечеринка. Тут, оставшись наедине с духом под открытым небом, он вдруг заметил, что волосы духа стали седыми.

– Разве жизнь духов так коротка? – спросил Скрудж.

– Моя жизнь кончится сегодня ночью.

– Так для тебя эта ночь последняя! – воскликнул Скрудж.

– Да, конец мой нынче в полночь. Час мой близок. Слушай.

В этот момент часы пробили три четверти двенадцатого.

– Прости за нескромный вопрос, – сказал Скрудж, внимательно присматриваясь к одежде духа. – Я вижу под твоей одеждой что-то странное, тебе несвойственное. Нога это или лапа?

– Как будто лапа, – печально ответил дух.

Из складок его одежды вышли двое детей, несчастных, забитых, страшных, безобразных и жалких. Возле ног духа они стали на колени, цепляясь за полы его плаща.

– О человек! – воскликнул дух. – Взгляни сюда!

То были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, они, точно волчата, смотрели исподлобья, но взгляд их был несмелый, покорный. Казалось бы, прелесть и свежесть молодости должна была светиться в их чертах. Но дряхлая, морщинистая рука времени уже обезобразила их. Там, где должны были царить ангелы, таились и грозно глядели дьяволы. Никакая низость, никакая извращенность, как бы велики они ни были, не могли создать в мире подобного уродства.

Скрудж в ужасе отшатнулся. Он хотел сказать, что дети красивы, но слова сами собой замерли у него на устах, которые не осмеливались произнести подобной лжи.

– Дух, они твои? – только и мог сказать Скрудж.

– Нет, это дети человека, – произнес дух, смотря на них. – Они не выпускают края моей одежды, взывая о защите от собственных своих родителей. Мальчик – невежество, девочка – нужда. Остерегайся их обоих и всех подобных им, а пуще всего мальчика, ибо на челе его начертано: гибель. Остерегайся его, если только не сотрется это роковое слово. Восстань на него! – вскричал дух. – Или же, ради своих нечистых умыслов, узаконяй его, увеличивай его силу! Но помни о конце!

– Разве у них нет крова, разве никто не протягивает им руку помощи? – воскликнул Скрудж.

– Разве не существует тюрем? – спросил дух, обращаясь к нему в последний раз. – Разве нет рабочих домов?

Колокол пробил двенадцать.

Скрудж хотел взглянуть на духа, но дух уже исчез. Когда замер последний звук колокола, Скрудж вспомнил предсказание Якова Марли и, подняв глаза, увидел величественный образ, привидение с закутанной головой, которое, точно облако тумана, подвигалось к нему.

Строфа IV. Последний дух

Призрак подходил безмолвно, медленно важно. При его приближении Скрудж упал на колени. Что-то мрачное и таинственное рассеивал призрак вокруг себя.

Голова, лицо, вся фигура его были закутаны в черную мантию, и, если бы не оставшаяся на виду простертая вперед рука, его трудно было бы отделить от ночного мрака.

Когда призрак поравнялся со Скруджем, Скрудж заметил, что он был огромного роста, и таинственное присутствие его наполнило душу Скруджа торжественным ужасом. Призрак был безмолвен и неподвижен.

– Я вижу духа будущего Рождества? – спросил Скрудж.

Призрак не ответил, но указал рукой вперед.

– Ты покажешь мне тени вещей, которых еще нет, но которые будут? – продолжал Скрудж. – Да?

Казалось, дух наклонил голову, ибо верхний край его мантии на мгновение собрался в складки. Это был единственный ответ, который получил Скрудж. Он уже привык к общению с духами, но этот безмолвный образ вселил в него такой страх, что ноги его дрожали; он чувствовал, что едва держится на них, что не в состоянии следовать за духом. Дух помедлил мгновение, точно наблюдая за ним и давая ему время опомниться.

Но от этого Скруджу сделалось еще хуже. Безотчетный, смутный страх охватил его при мысли, что из-под этого черного покрывала на него устремлены бесплотные очи, тогда как он, сколько ни старался напрягать свое зрение, ничего не видал, кроме призрачной руки и бесформенной черной массы.

– Дух будущего! – воскликнул Скрудж. – Ты страшишь меня больше прежних духов, виденных мною. Но, зная твоё желание сделать меня добрым и надеясь стать иным человеком, чем прежде, я готов с благодарностью следовать за тобою. Почему ты ничего не говоришь мне?

Дух по-прежнему молчал. Его рука была направлена вперед.

– Веди меня! – сказал Скрудж. – Веди меня! Ночь убывает, а время дорого мне – я знаю это. Веди меня, дух!

Призрак стал отдаляться от Скруджа точно так же, как и подходил к нему. В тени его мантии Скрудж последовал за ним, и ему казалось, что она уносила его с собой, а город как будто сам надвигался и окружал их.

Они очутились как раз в центре городка, на бирже, среди купцов, суетливо бегавших взад и вперед, звеневших деньгами, толпившихся и разговаривавших между собой, посматривавших на часы, задумчиво игравших золотыми брелоками часов, – словом, они очутились в обстановке, хорошо знакомой Скруджу.

Дух остановился возле небольшой кучки купцов. Заметив, что рука духа указывала на нее, Скрудж подошел послушать разговор.

– Нет, – сказал крупный, толстый господин с громадным подбородком. – Я об этом совершенно ничего не знаю. Знаю только то, что он умер.

– Когда же? – спросил другой. – Кажется, прошлой ночью?

– Что же случилось с ним? – спросил третий, взяв из объемистой табакерки большую щепотку табаку. – А я думал, что он никогда не умрет.

– Бог его знает, – сказал первый, зевая.

– А что он сделал с деньгами? – спросил господин с красным лицом и висячим, трясущимся, как у индюка, наростом на конце носа.

– Я не слышал, – сказал человек с большим подбородком и опять зевнул. – Но, может быть, он завещал деньги своей гильдии? Мне он их не оставил, я это прекрасно знаю.

Эта шутка вызвала общий смех.

– Вероятно, похороны будут очень скромные, – сказал тот же самый господин. – Я не знаю никого, кто бы пошел его проводить до могилы. Честное слово! Не пойти ли нам, не дожидаясь приглашения?

– Я, пожалуй, не прочь, но только в том случае, если будет завтрак, – заметил господин с наростом на носу. – Только тогда я приму участие в проводах, если меня угостят.

Снова раздался хохот.

– Чудесно! А я вот бескорыстнее вас всех, – сказал первый господин, – я никогда не носил черных перчаток и не ел похоронных завтраков. Но все же и провожу его, если найдутся еще желающие. Мне теперь сдается – не был ли я его близким другом, ибо, встречаясь с ним, мы обыкновенно раскланивались и перекидывались несколькими словами. Прощайте, господа! Счастливо оставаться!

Говорившие и слушавшие разбрелись и смешались с другими группами. Скрудж хорошо знал этих людей – и вопросительно взглянул на духа, ожидая объяснения того, что только что говорилось на бирже.

Но дух уже двинулся далее по улице. Он указал пальцем на двух встретившихся людей. Стараясь и здесь найти объяснение толков на бирже, Скрудж снова прислушался. Он знал и этих людей: то были очень богатые и знатные деловые люди. Скрудж всегда дорожил их мнением, конечно, в сфере чисто деловых отношений.

– Как поживаете? – сказал один из них.

– А вы как? – спросил другой.

– Хорошо, – сказал первый. – Старый хрыч так-таки допрыгался.

– Я слышал, – ответил второй. – А холодно, не правда ли?

– По-зимнему, ведь Рождество! Вы не катаетесь на коньках?

– Нет. Нет, мне не до того! Мне и кроме этого есть о чем подумать! До свидания!

Сначала Скрудж удивился, почему дух придавал такую важность столь пустым, по-видимому, разговорам, но, чувствуя, что в них кроется какой-то особенный смысл, задумался. Трудно было допустить, что разговор шел о смерти его старого компаньона Якова Марли, ибо то относилось к области прошлого; здесь же было царство духа будущего. Он не мог вспомнить никого из своих знакомых, кто был бы связан непосредственно с ним и к кому он мог бы отнести их разговор. Но, несколько не сомневаясь, что, к кому бы он ни относился, в нем скрывается тайный смысл, клонящийся к его к собственному благу, он старался сохранить в памяти каждое слово – все, что видел и слышал. Он решил тщательно наблюдать за своим двойником, как только тот появится, надеясь, что поведение его двойника послужит руководящей нитью к изъяснению всех загадок.

Он оглядывался вокруг себя, ища взорами своего двойника. Но в том углу, где обычно стоял Скрудж, был другой человек, часы же показывали как раз то время, когда должен был быть там Скрудж. Притом в толпе, которая стремительно входила в ворота, он не заметил ни одного человека, похожего на него самого. Однако это мало удивило его, ибо, решившись изменить образ жизни, он свое отсутствие здесь объяснял осуществлением своих новых планов.

Протянув вперед руку, стоял сзади него спокойный, мрачный призрак. Очнувшись от сосредоточенной задумчивости, Скрудж почувствовал, по повороту руки призрака, что его невидимые взоры были пристально устремлены на него. Скрудж содрогнулся, точно от холода.

Покинув бойкое торговое место, они отправились в смрадную часть города, куда Скрудж никогда не проникал прежде, хотя и знал ее местоположение и дурную славу, которой она пользовалась. Улицы были грязны и узки, лавки и дома жалки, люди полуодеты, пьяны, безобразны, обуты в стоптанную обувь. Закоулки, проходы в ворота, места

под арками, словно помойные стоки, изрыгали зловоние, грязь и толпы людей. Ото всего квартала так и веяло пороком, развратом и нищетой.

В глубине этого гнусного вертепа находилась низкая, вросшая в землю, с покосившейся крышей и навесом, лавчонка – лавчонка, в которой скупали железо, старое тряпье, бутылки, кости и всякий хлам. Внутри ее, на полу, были навалены кучи ржавых гвоздей, ключей, цепей, дверных петель, пил, весов, гирь и всякого скарба. Мало охотников нашлось бы узнать те тайны, которые скрывались здесь под горами безобразного тряпья, под массами разлагающегося сала и костей. Среди всего этого, возле печки, топившейся углем и сложенной из старых кирпичей, сидел торговец – седой, старый, семидесятилетний плут. Защитившись от холода грязной занавеской, сшитой из разных лохмотьев и висевшей на веревке, он курил трубку, наслаждаясь мирным уединением.

Скрудж и дух вошли в лавку одновременно с женщиной, тащившей тяжелый узел; почти следом за ней и тоже с узлом в лавку вошла другая женщина, а по пятам за ней вошел человек в полинялой черной паре. Увидав и узнав друг друга, они остолбенели. Затем, после нескольких мгновений смущения и удивления, которым охвачен был и сам хозяин, державший трубку в руке, все разразилось смехом.

– Позвольте поденнице быть первой, – сказала прежде всех вошедшая женщина. – Прачка пусть будет второй, а слуга гробовщика – третьим. Каково, старик Джо! Нежданно-негаданно мы все трое встретились здесь.

– Место как нельзя более подходящее, – сказал старик Джо, вынимая трубку изо рта. – Но идем в гостиную! Вы знаете, что вы там с давних пор свой человек, да и те двое не чужие. Подождите, я затворю дверь в лавку. Ах, как она скрипит! Мне кажется, что в моей лавке нет ни одного куска железа более заржавленного, чем ее петли, и я уверен, что нет ни единой кости старше моих: ха-ха! Наша профессия и мы сами – мы стоим друг друга. Но в гостиную! Идемте же!

Гостиной называлось отделение за занавеской, сшитой из тряпок. Старик сгреб угли в кучу старым железным прутом, бывшим когда-то частью перил лестницы, и, оправив коптящую лампочку (была ночь) чубуком своей трубки, снова взял ее в рот.

В то время, когда он делал это, говорившая до этого женщина бросила свой узел на пол и развязно уселась на стул, положив руки на колени, нахально и вызывающе смотря на прочих.

– Ну что из того? Что из того, мисс Дильбер! – сказала женщина. – Каждый человек имеет право заботиться о самом себе. Он так и делал всегда.

– Это совершенно верно, – сказала прачка. – Но, кажется, никто не воспользовался этим правом в большей степени, чем он.

– Ну чего вы таращите глаза друг на друга, точно друг друга боитесь? Кто знает об этом? Кажется, нам нет смысла строить друг другу каверзы.

– Конечно, – сказали в один голос Дильбер и слуга гробовщика. – Конечно!

– Ну и отлично, – воскликнула женщина. – Довольно об этом. Кому станет хуже от того, что мы кое-что взяли? Не мертвецу же!

– Разумеется, – сказала Дильбер, смеясь.

– Если этот скаред хотел сохранить все эти вещички после смерти, – продолжала женщина, – то почему при жизни он никому не делал добра: ведь, если бы он был добрее, наверное нашелся бы кто-нибудь, кто приглядел бы за ним при кончине, не оставил бы его одиноким при последнем издыхании.

– Нет слов справедливее этих! – сказала Дильбер. – Вот и наказание ему.

– Было бы даже лучше, если бы оно было потяжелее! – ответила женщина. – Оно и было бы таковым, поверьте мне, если бы только я могла забрать еще что-нибудь. Развяжите узел, старик Джо, и назначьте цену за вещи. Говорите начистоту. Я не боюсь того,

что вы развяжете мой узел первым, а они увидят содержимое его. Кажется, мы довольно хорошо знаем занятия друг друга, еще и до встречи здесь. В этом нет греха. Развязывайте узел, Джо.

Но деликатность ее сотоварищей не позволила этого, и человек в черной полинявшей паре отважился первым показать награбленную добычу: ее было немного. Одна или две печати, серебряный карандаш, пара запонок и дешевенькая булавка для галстука – вот и все! Старик Джо рассматривал и оценивал каждую вещь в отдельности, мелом записывая на стене сумму, которую рассчитывал дать за каждую вещь.

Кончив дело, он подвел итог.

– Вот! – сказал Джо. – Я не прибавлю и шести пенсов, даже если б меня живьем сварили в кипятке. Теперь чья очередь?

Следующей была мистрис Дильбер. У нее было несколько простынь, полотенец, немного носильного платья, одна или две старомодные чайные серебряные ложки, сахарные щипцы и несколько сапог.

Ее счет записывался на стене тем же порядком.

– Женщинам я даю всегда очень дорого. Это моя слабость, и она вконец разорит меня, – сказал старик Джо. – Вот ваш счет. Если вы будете настаивать на прибавке даже в один пенни, я раскаюсь в своей щедрости и вычту полкроны.

– А теперь развяжите мой узел, Джо, – сказала первая женщина.

Чтобы развязать его, Джо для большого удобства опустился на колени и, развязав множество узлов, вытащил большой тяжелый сверток какой-то темной материи.

– Что это? – спросил Джо. – Постельные занавески?

– Да, – ответила женщина со смехом. – Постельные занавески.

– Неужели ты хочешь сказать, что ты сняла их вместе с кольцами, когда он еще лежал на кровати? – спросил Джо.

– Разумеется, – ответила женщина. – А почему бы мне и не снять их?

– Тебе на роду написано быть богатой, – сказал Джо, – и ты, наверное, добьешься этого.

– Раз представляется случай что-нибудь взять, да еще у такого человека, я стесняться не стану! – возразила женщина хладнокровно. – Не капните маслом на одеяло.

– Разве это его одеяло? – спросил Джо.

– А чье же еще, вы думаете? – ответила женщина. – Небось не простудится и без одеяла.

– Надеюсь, он умер не от какой-либо заразной болезни? – спросил старик Джо, оставляя работу и смотря на нее.

– Не беспокойтесь, – возразила женщина. – Не такое уж удовольствие доставляло мне его общество, не стала бы я из-за этого хлама долго возиться с ним, если бы он действительно умер от такой болезни. Разглядывайте сколько угодно, не найдете ни одной дыры, ни одного потертого места. Это – самая лучшая и самая тонкая из всех его рубашек. Не будь меня, она так бы и пропала зря!!

– Что вы этим хотите сказать? Почему пропала бы? – спросил старик Джо.

– Наверное, ее надели бы на него и похоронили бы в ней, – отвечала женщина со смехом. – Да и нашелся было такой дурак, который сделал это, но я снова сняла ее. Если и коленкор не хорош для этой цели, то на что же после этого он годен! Коленкор очень идет к покойнику, и авось он не станет хуже в коленкоре, чем в этой рубашке.

Скрудж с ужасом слушал этот разговор. Когда все грабители собрались вокруг своей добычи при тусклом свете лампочки старика, он с омерзением и отвращением смотрел на них, он не чувствовал бы себя лучше, даже если бы сами демоны торговали его трупом.

– Ха-ха! – смеялась та же женщина, когда старый Джо выложил фланелевый мешок с деньгами и стал считать, сколько приходится каждому, – Вот и развязка! Всю жизнь он скряжничал, словно для того, чтобы после своей смерти дать нам поживиться. Ха-ха-ха!

– Дух, – сказал Скрудж, дрожа всем телом. – Я вижу, вижу. Участь того несчастного может быть и моей. Мне не избежать ее! Но, Боже милосердный! Что это?

Он отшатнулся в ужасе, ибо сцена изменилась, и он очутился возле голой, незанавешенной постели, на которой, под изорванным одеялом, лежало что-то говорившее своим молчанием больше, чем словами.

Комната была настолько темна, что ее почти невозможно было рассмотреть, хотя Скрудж, повинаясь какому-то тайному влечению, внимательно разглядывал окружающее, стараясь определить, что это за комната. Бледный свет, проникавший снаружи, падал прямо на кровать, на которой лежал забытый, ограбленный, беспризорный и неоплаканный труп.

Скрудж смотрел на духа. Его неподвижная рука указывала на голову. Покров был накинут так небрежно, что достаточно было легкого прикосновения, чтобы он спал с лица, Скрудж подумал о том, как легко это сделать, томился желанием сделать это, но не имел силы откинуть покрывало, равно как и удалить призрак, стоявший рядом с ним.

О смерти, суровая, ледяная, ужасная, воздвигни здесь свой алтарь и облеки его таким ужасом, каким только можешь, ибо здесь твое царство! Но по твоей воле не спадет и единственный волос с головы человека, заслужившего любовь и почет. Ты не в силах, ради страшных целей своих, внушить отвращение к чертам лица его, хотя рука его тяжела и падает, когда ее оставляют, хотя прекратилось биение сердца его и замер пульс; эта рука была верна, честна, открыта; это сердце было правдиво, тепло и нежно, этот пульс бился по-человечески. Рази, убивай! Ты увидишь, как из ран прольется кровь его добрых дел и возрастит в мире жизнь вечную!

Никто не сказал Скруджу этих слов, но он слышал их, когда смотрел на кровать. Он думал о том, каковы были бы первые мысли этого человека, если бы он встал теперь. Алчность, страсть к наживе, притеснение ближнего? Поистине, к великолепному концу они привели его.

Он лежал в темном, пустом доме, всеми покинутый, не было ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые сказали бы: он был добр к нам, и мы заплатим ему тем же. Кошка царапалась в дверь, а под каменным полом, под камином что-то грызли крысы. Почему они старались проникнуть в комнату покойника, почему они были так неугомонны и беспокойны, – об этом Скрудж боялся и думать.

– Дух, – сказал он, – здесь страшно. – Поверь, оставив это место, я не забуду твоего урока. Уйдем отсюда!

Но дух указал на голову трупа.

– Понимаю тебя и сделал бы это, – сказал Скрудж, – но не могу. Не имею силы, дух, не имею.

И снова ему показалось, что призрак смотрит на него.

– Есть ли хоть один человек в городе, который сожалеет о кончине этого несчастного? – спросил Скрудж, изнемогая. – Покажи мне такого, дух.

Призрак раскинул перед ним на мгновение черную мантию, подобно крылу, и, открыв ее, показал комнату при дневном свете, комнату, где была мать с детьми. Она тревожно ожидала кого-то, расхаживая взад и вперед по комнате и вздрагивая при малейшем звуке, смотря то в окно, то на часы. Несмотря на все усилия, она не могла приняться за иглу и едва переносила голоса играющих детей.

Наконец услышав давно ожидаемый стук, она поспешно подошла к двери и встретила своего мужа. Это был еще молодой человек, но лицо его уже носило отпечаток утомления, забот и горя. Выражение его лица светилось какою-то радостью, которой он, по-видимому, стыдился, которую он старался подавить. Он сел за обед, подогревавшийся для него, и, когда она, после долгого молчания, нежно спросила, какие новости, он, казалось, затруднился что ответить.

– Хорошие или дурные? – спросила она, желая вывести его из этого затруднения.

– Дурные, – ответил он.

– Мы разорены вконец?

– Нет, еще осталась надежда, Каролина.

– Если он смилостивится, – сказала пораженная женщина, – то, конечно, еще не все пропало, если бы случилось такое чудо, осталась бы некоторая надежда.

– Ему уже теперь не до того: он умер, – сказал ее муж.

Судя по выражению лица, Каролина была кротким, терпеливым существом – и все-таки она не могла скрыть своей радости при этом известии. Но в следующее мгновение она уже раскаялась, подавив голос сердца.

– Значит, это правда – то, что вчера вечером сказала мне эта полупьяная женщина – я о ней уже рассказывала тебе, – когда я хотела повидаться с ним и попросить отсрочки на неделю. Значит, это была не простая отговорка, не желание отделаться от меня, но совершеннейшая правда. Он был не только болен, он лежал при смерти. К кому же перейдет наш долг?

– Я не знаю. Я думаю, мы еще успеем приготовить деньги к сроку. Едва ли его преемник окажется столь же безжалостным кредитором. Мы можем спокойно спать, Каролина.

Да. Как ни старались они скрыть своих чувств, они все-таки испытывали облегчение. Лица притихших, собравшихся в кучку послушать непонятный для них разговор детей повеселели. Смерть этого человека осенила счастьем этот дом. Единственное чувство, вызванное этой смертью, было чувство радости.

– Если ты хочешь, чтобы эта мрачная комната изгладилась из моей памяти, – сказал Скрудж, – покажи мне, дух, такого человека, который сожалел бы о смерти покойника.

Дух повел его по разным знакомым ему улицам. Проходя по ним, Скрудж всматривался во все, стараясь найти своего двойника, но нигде не видел его. Они вошли в дом бедняка Крэтчита, где они уже однажды были. Мать и дети сидели вокруг огня. Было тихо.

Очень тихо. Маленькие шалуны Крэтчиты сидели в углу тихо и неподвижно, точно статуэтки, глядя на Петра, державшего перед собою книгу. Мать и дочери, занятые шитьем, тоже были как-то особенно тихи.

«И он взял ребенка и поставил его посреди них».

Где слышал Скрудж эти слова? Не приснились же они ему? Наверное, мальчик прочел их, когда они переступили порог. Почему же он не продолжает?

Мать положила работу на стол и подняла руки к лицу.

– Этот цвет раздражает мои глаза, – сказала она. – Ах, бедный маленький Тим! Теперь лучше, – сказала жена Крэтчита. – Я хуже вижу при свете свечей. Мне очень не хочется, чтобы ваш отец, придя домой, заметил, что глаза мои так утомлены.

– Давно бы пора ему прийти, – ответил Петр, закрывая книгу, – Мне кажется, что несколько последних вечеров он ходит медленнее, чем обыкновенно.

Снова воцарилось молчание. Наконец, жена Крэтчита сказала твердым веселым голосом, который вдруг оборвался.

– Я знаю, что он... Помню, бывало, и с Тайни-Тимом на плече он ходил быстро.

– И я помню это, – воскликнул Петр.

– И я, – отозвался другой. – Все видели это.

– Но он был очень легок, – начала она снова, усердно занимаясь работой, – и отец так любил его, что для него не составляло труда носить его. А вот и он!

И она поспешила навстречу маленькому Бобу, закутанному в свой неизменный шарф.

Приготовленный к его возвращению чай подогревался у камина, и все старались прислуживать Бобу, кто чем мог. Затем два маленьких Крэтчита взобрлись к нему на колени, и каждый из них приложил маленькую щечку к его щеке, как бы говоря: не огорчайся, папа!

Боб был очень весел и радостно болтал со всеми. Увидев на столе работу, он похвалил мистрис Крэтчит и девочек за усердие и быстроту: они, наверное, кончат ее раньше воскресенья.

– Воскресенья! Ты уже был там сегодня, Роберт? – сказала мистрис Крэтчит.

– Да, дорогая, – отозвался Боб. – Жаль, что ты не могла пойти туда, у тебя отлегло бы на сердце при виде зеленой травы, которой заросло то место. Да ты еще увидишь его. Я обещал приходить туда каждое воскресенье. Мой бедный мальчик, мое бедное дитя!

Он не в силах был удержать рыданий. Может быть, он и удержал бы их, да уж слишком любили они друг друга!

Выйдя из комнаты, он поднялся по лестнице наверх, в комнату, украшенную по-праздничному. Возле постели ребенка стоял стул и были заметны следы недавнего пребывания людей. Немного успокоившись, Боб сел на стул и поцеловал маленькое личико. Он примирился с тем, что случилось, и пошел вниз успокоенный.

Все придвинулись к камину, и потекла беседа. Девочки и мать продолжали работать. Боб рассказывал о чрезвычайной доброте племянника Скруджа, которого он видел только один раз. «Да, только раз, и, однако, встретив меня после этого на улице, – говорил Боб, – и заметив, что я расстроен, он тотчас же осведомился, что такое со мной случилось, что так огорчило меня. И я, – сказал Боб, – я все рассказал ему, ибо это необыкновенно славный человек». «Я очень сожалею об этом, мистер Крэтчит, – сказал он, – и душевно сочувствую горю вашей доброй супруги». Впрочем, я удивляюсь, откуда он знает все это?

– Что, мой дорогой?

– Что ты добрая, прекрасная жена!

– Всякий знает это, – сказал Петр.

– Ты сказал хорошо, мой мальчик, – воскликнул Боб. – Надеюсь, это сущая правда. «Сердечно сочувствую вашей доброй жене. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам, – сказал он, – то вот мой адрес. Пожалуйста, навестите меня!» Это восхитительно, и прежде всего не потому, что он может принести нам какую-либо пользу, восхитительна прежде всего его любезность: он как будто знал нашего Тима и разделял наши чувства.

– Он, вероятно, очень добр, – сказала мистрис Крэтчит.

– Ты еще более убедилась бы в этом, дорогая, – ответил Боб, – если бы видела его и поговорила с ним. Меня, заметь, нисколько не удивит, если он даст Петру лучшее место.

– Слышишь, Петр? – сказала мистрис Крэтчит.

– А потом Петр найдет себе невесту, – воскликнула одна из девочек. – И обзаведется своим домком.

– Отстань, – ответил Петр, улыбаясь.

– Это все еще в будущем, – сказал Боб, – для этого еще довольно времени. Но, когда бы мы ни расстались друг с другом, я верю, что ни один из нас не забудет бедного Тима! Не правда ли?

– Никогда, отец, – вскричали все.

– Я знаю, – сказал Боб, – знаю, дорогие мои, что, когда мы вспомним, как кроток и терпелив он был, будучи еще совсем маленьким, мы не будем ссориться в память о нем, не забудем бедного Тима.

– Никогда, отец, никогда, – снова закричали все.

– Я очень счастлив, – сказал маленький Боб, – я очень счастлив.

Мистрис Крэтчит, дочери и два маленьких Крэтчита поцеловали его, а Петр пожал ему руку.

– Дух, – сказал Скрудж, – мы должны скоро расстаться – я знаю это. Но я не знаю, как это будет? Скажи мне, кто тот покойник?

Дух будущего Рождества снова повел его вперед, как вел и прежде, хотя, казалось, время изменилось: действительно, в видениях уже не было никакой последовательности, кроме того, что все они были в будущем. Они были среди деловых людей, но там Скрудж не видел своего двойника. Дух упорно, не останавливаясь, шел вперед, точно преследуя какую-то цель, пока Скрудж не попросил его остановиться хотя на одно мгновение.

– Двор, по которому мы мчимся так быстро, был местом, где я долгое время работал, – сказал Скрудж. – Я вижу дом. Позволь мне посмотреть, что станет со мной в будущем.

Дух остановился, но рука его была простерта в другую сторону.

– Ведь вот дом, – воскликнул Скрудж. – Почему же ты показываешь не на него?

Но рука духа оставалась неподвижна.

Скрудж быстро подошел к окну своей конторы и заглянул в нее. Сама комната, ее обстановка были те же, что и прежде, но сидевший на стуле человек был не он. Однако призрак неизменно указывал в том же направлении.

Скрудж снова обернулся к нему, не понимая, куда и зачем ведут его, но покорился и следовал за духом до тех пор, пока они не достигли железных ворот.

Кладбище. Здесь под плитой лежал тот несчастный, имя которого предстояло узнать Скруджу. Это было место достойное его. Оно было окружено домами, заросло сорной травой и другой растительностью – не жизни, а смерти, пресыщенной трупными соками. Да, поистине достойное место!

Дух стоял посреди могил и указывал на одну из них.

С дрожью во всем теле Скрудж приблизился к ней. Призрак оставался тем же, но Скрудж теперь боялся его, видя что-то новое во всей его величественной фигуре.

– Прежде чем я подойду к этому камню, на который ты указываешь, – сказал Скрудж, – ответь мне на один вопрос. Это тени будущих вещей или же тени вещей, которые могут быть?

Дух указал на могилу, возле которой стоял Скрудж.

– Пути жизней человеческих предопределяют и конец их, – сказал Скрудж. – Но ведь если пути изменятся, то изменится и конец. Согласуется ли это с тем, что ты показываешь?

Дух был по-прежнему недвижим.

Скрудж, дрожа, подполз к могиле, следуя указанию пальца духа, и прочитал на камне заброшенной могилы свое имя:

«Эбензар Скрудж».

– Но неужели человек, лежавший на кровати, – я? – воскликнул Скрудж, стоя на коленях.

Палец попеременно указывал то на него, то на могилу.

– Нет, дух, нет!

Палец указывал в том же направлении.

– Дух, – воскликнул Скрудж, крепко хватаясь за одежду духа, – выслушай меня. Я уже не тот, каким был. Я не хочу быть таким, каким был до общения с тобою! Зачем ты показываешь все это, раз нет для меня никакой надежды на новую жизнь?

Казалось, рука дрогнула – в первый раз.

– Добрый дух, – продолжал Скрудж, стоя перед ним на коленях. – Ты жалеешь меня. Не лишай же меня веры в то, что я еще могу, исправившись, изменить тени, которые ты показал мне!

Благостная рука снова дрогнула.

– Всем сердцем моим я буду чтить Рождество и воспоминание о нем буду хранить в сердце круглый год! Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! Воспоминание о духах будет всегда живо во мне, я не забуду их спасительных уроков. О, скажи мне, что я еще могу стереть начертанное на этом камне!

В отчаянии Скрудж схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но Скрудж держал ее настойчиво, крепко. Но дух оттолкнул его от себя. Простирая руки в последней мольбе, Скрудж вдруг заметил какую-то перемену в одеянии духа... Дух сократился, съежился – и Скрудж увидел столбик своей кровати.

Строфа V. Эпилог

Да, это был столбик его собственной кровати. И комната была его собственная. Лучше же всего, радостнее всего было то, что будущее тоже принадлежало ему – он мог искупить свое прошлое.

– Я буду жить прошлым, настоящим и будущим! – повторял Скрудж, слезая с кровати. – В моей душе всегда будет живо воспоминание о всех трех духах. О, Яков Марли! Да будут благословенны небо и Рождество! Я произношу это на коленях, старый Марли, на коленях!

Он был так взволнован и возбужден желанием поскорее осуществить на деле свои добрые намерения, что его голос почти отказался повиноваться ему. Лицо его было мокро от слез – ведь он так горько плакал во время борьбы с духом.

– Они целы! – вскричал Скрудж, хватаясь за одну из занавесок кровати. – Все цело – я их увижу, – всего того, что могло быть, не будет! Я верю в это!

Он хотел одеться, но надевал платье наизнанку, чуть не разрывал его, забывал, где что положил, – проделывал всякие дикие штуки.

– Я не знаю, что делать! – вскричал Скрудж, смеясь и плача, возясь со своими чулками, точно Лаокоон со змеями. – Я легок, как перо, счастлив, как ангел. Весел, как школьник!

Голова кружится, как у пьяного. С радостью всех! С праздником! Счастливого Нового года всему миру! Ура! Ура!

Вбежав вприпрыжку в приемную, он остановился, совершенно запыхавшись.

– Вот и кастрюлька с овсянкой! – вскричал он, вертясь перед камином. – Вот дверь, через которую вошел дух Якова Марли! Вот окно, в которое я смотрел на реющих духов! Все как и должно быть, все, что было, – было. Ха-ха-ха!

Он смеялся – и для человека, который не смеялся столько лет, этот смех был великолепен, чудесен. Он служил предвестником чистой, непрерывной радости.

– Но какое число сегодня? – сказал Скрудж. – Долго ли я был среди духов? Не знаю, не знаю ничего. Я точно младенец. Да ничего, это не беда! Пусть лучше я буду младенцем! Ура! Ура! Ура!

Громкий, веселый перезвон церковных колоколов – такой, которого он никогда не слышал раньше, вывел его из восторженного, состояния. Бим-бом-бам: Дон-динь-дон! Бом-бом-бам! О, радость, радость!

Подбежав к окну, он открыл его и высунул голову. Ни тумана, ни мглы! Ярко, светло, радостно, весело, бодро и холодно! Мороз, от которого играет кровь! Золотой блеск солнца. Безоблачное небо, свежий сладкий воздух, веселые колокола! Как дивно-хорошо! Как великолепно все!

– Какой день сегодня? – воскликнул Скрудж, обращаясь к мальчику в праздничном костюме, который зазевался, глядя на него?

– Что? – спросил сильно удивленный мальчик.

– Какой у нас сегодня день, мой друг? – спросил Скрудж.

– Сегодня? – ответил мальчик. – Вот тебе раз! Рождество, конечно!

– Рождество! – сказал Скрудж самому себе. – Значит, я не пропустил его. Духи все сделали в одну ночь. Они все могут, все, что захотят. Разумеется, все. Ура, дорогой друг.

– Ура! – отозвался мальчик.

– Знаешь ли ты лавку на соседней улице на углу, где торгуют битой птицей? – спросил Скрудж.

– Еще бы не знать! – ответил мальчик.

– Умник! – сказал Скрудж. – Замечательный мальчик! Так вот, не знаешь ли ты, продана или нет индейка, висевшая вчера там, – та, что получила приз на выставке? Не маленькая индейка, а большая, самая большая?

– Это та, что с меня величиной? – спросил мальчик.

– Какой удивительный ребенок! – сказал Скрудж. – Приятно говорить с ним! Да, именно та, дружок!

– Нет, еще не продана, – сказал мальчик.

– Да? – воскликнул Скрудж. – Ну так ступай и купи ее.

– Вы шутите?

– Нет, нет, – сказал Скрудж. – Нисколько. Ступай и купи ее. И скажи, чтобы ее доставили сюда, а там я скажу, куда ее отнести. Вернись сюда вместе с приказчиком, который понесет индейку. За работу получишь шиллинг. Если же вернешься раньше чем через пять минут, я дам тебе полкроны.

Мальчик полетел, как стрела из лука, да с такой быстротой, с которой не пустил бы ее и самый искусный стрелок.

– Я пошлю ее Бобу Крэтчиту, – прошептал Скрудж, потирая руки и разражаясь смехом. – И он так и не узнает, кто ее прислал. Она вдвое больше Тайни-Тима... Джек Миллер никогда бы не придумал подобной штуки – послать Бобу индейку!

Почерк, которым он писал адрес, был нетверд. Написав кое-как, Скрудж спустился вниз по лестнице, чтобы открыть дверь и встретить лавочника. Ожидая его, он остановился. Молоток попался ему на глаза.

– Всю жизнь буду любить его! – воскликнул Скрудж, потрепав его. – А прежде я почти не замечал его. Какое честное выражение лица! Удивительный молоток! А вот и индейка! Ура! Как поживаете? С праздником!

Ну и индейка! Вряд ли эта птица могла стоять на ногах! Они мгновенно переломились бы, как сургучные палки!

– Да ее невозможно будет отнести в Камден-Таун! – воскликнул Скрудж. – Придется нанять извозчика.

Со смехом говорил он это, со смехом платил за индейку, со смехом отдал деньги извозчику, со смехом наградил мальчика – и все это кончилось таким припадком хохота, что он был принужден сесть на стул, едва переводя дух, хохоча до слез, до коллик.

Выбраться теперь, когда так сильно дрожали руки, было нелегко: бритве требует внимания даже и тогда, когда вы совершенно спокойны. Ну да и то не беда – если он сбреет кончик носа, можно будет наложить кусочек липкого пластыря, и дело в шляпе!

Одевшись в самое лучшее платье, Скрудж вышел, наконец, на улицу. Толпа народа сновала так же, как и во время его скитаний с духом нынешнего Рождества. Заложив руки назад, Скрудж с радостной улыбкой смотрел на каждого. Выражение его лица было так приветливо, что трое добродушных прохожих сказали ему: «Доброго утра, сэр! С праздником!» – и впоследствии Скрудж часто говорил, что из всего, что он когда-либо слышал, это было самое радостное.

Сделав несколько шагов, он встретился с пожилым представительным господином, приходившим вчера в его контору и сказавшим ему: «Скрудж и Марли, не так ли?» – и что-то кольнуло его в сердце, когда он подумал, как-то взглянет он на него. Все же он отлично знал теперь, что надо делать, и прямо подошел к нему.

– Дорогой сэр, – сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря господина под руку. – Как поживаете? Полагаю, что вы поработали успешно. Как это хорошо с вашей стороны. Поздравляю вас с праздником!

– Мистер Скрудж?

– Да, – ответил Скрудж. – Меня зовут Скруджем, но я боюсь, что это неприятно вам. Позвольте попросить у вас извинения. Будьте так добры... – И тут Скрудж шепнул ему что-то на ухо.

– Боже мой! – воскликнул господин, с трудом переводя дух. – Вы не шутите, дорогой Скрудж?

– Нет, нет, – сказал Скрудж. – И ни полушки менее! За мной много долгов, с которыми я и хочу теперь расплатиться. Прошу вас!

– Дорогой сэръ! – сказал господин, пожимая ему руку. – Не знаю, как и благодарить вас за такую щедрость.

– Ни слова больше, пожалуйста, – быстро возразил Скрудж. – Не откажитесь навестить меня. Навестите? Да?

– С удовольствием! – воскликнул господин, и таким тоном, что было ясно, что он исполнит свое обещание.

– Благодарю вас, – сказал Скрудж. – Я многим обязан вам. Бесконечно благодарен вам.

Он зашел в церковь, а затем бродил по улицам, присматриваясь к людям, торопливо сновавшим взад и вперед, заговаривал с нищими, ласково гладил по голове детей, заглядывал в кухни и в окна домов – и все это доставляло ему радость. Ему и во сне не снилось, что подобная прогулка могла доставить столько радости! В полдень он направился к дому своего племянника.

Но, прежде чем он отважился постучать и войти, он раз двенадцать прошел мимо двери. Наконец стремительно схватился за молоток.

– Дома ли хозяин, милая? – сказал он горничной. – Какая вы славная! Просто прелесть!

– Дома, сэръ.

– А где, милая моя?

– Он в столовой, сэръ, вместе в барыней. Я провожу вас, если вам угодно.

– Благодарю. Он знает меня, – сказал Скрудж, берясь за дверь в столовую.

Он тихо отворил и украдкой заглянул в комнату. Хозяйева осматривали обеденный стол, накрытый очень парадно, ибо ведь молодые в этом отношении очень взыскательны, очень любят, чтобы все было как у людей.

– Фред, – сказал Скрудж.

Батюшки мои, как вздрогнула при этих словах его племянница. Он совершенно забыл, что она сидела в углу, поставив ноги на скамейку, иначе он не сказал бы этого.

– С нами крестная сила! – воскликнул Фред. – Кто это?

– Это я. Твой дядя Скрудж. Я пришел обедать. Можно войти, Фред?

Можно ли войти! Ему чуть не оторвали руку! Не прошло и пяти минут, как Скрудж почувствовал себя уже совсем как дома. Нельзя было и представить более радушного приема. И племянница не отставала в любезности от мужа. Да не менее любезны были и пришедшие вслед за Скруджем. Топпер и полная девушка, сестра племянницы, не менее любезны были и все остальные гости. Какая славная составила компания! Какие затеялись игры! Какая царила радость, какое единодушие!

На следующее утро Скрудж рано пришел в свою контору. И да, ранехонько! Непременно надо было прийти раньше Боба Крэтчита и уличить его в опоздании. Этого он хотел больше всего – и так оно вышло. Да. Часы пробили девять. Боба нет. Прошло еще четверть часа. Боба нет. Он опоздал на целых восемнадцать с половиной минут! Скрудж сидел, широко растворив дверь, чтобы увидеть, как войдет Боб в свою каморку.

Прежде чем отпереть дверь, Боб снял шляпу, а затем и шарф. В одно мгновение он был на своем стуле и заскрипел пером с необыкновенной поспешностью.

– Гм! – проворчал Скрудж, стараясь придать своему голосу обычный тон. – Что значит, что вы являетесь в такую пору?

– Я очень огорчен, сэр, – сказал Боб. – Я опоздал.

– Опоздал? Я думаю! Потрудитесь пожаловать сюда, сэр. Прошу вас!

– Это случается только раз в год, – сказал Боб, выходя из каморки. – Этого не повторится больше. Вчера я немного засиделся, сэр.

– А я, мой друг, хочу сказать вам следующее, – сказал Скрудж. – Я не могу более терпеть этого. А потому, – продолжал он, соскакивая со стула и давая Бобу такой толчок в грудь, что тот отшатнулся назад, в свою каморку, – я прибавляю вам жалованья!

Боб задрожал и сунулся к столу, к линейке. У него мелькнула мысль ударить ею Скруджа, схватить его, позвать на помощь народ со двора и отправить его в сумасшедший дом.

– С праздником! С радостью, Боб! – сказал Скрудж с серьезностью, не допускавшей ни малейшего сомнения, и потрепал его по плечу, – С праздником, дорогой мой, но не таким, какие я устраивал вам раньше: я прибавлю вам жалованье и постараюсь помочь вашей бедной семье. Об этом мы еще поговорим сегодня после обеда за чашкой дымящегося пунша. Прибавьте огня и купите другой ящик для угля. И не медля, Боб Крэтчит, не медля ни минуты!

Скрудж сдержал свое слово. Он сделал гораздо более того, что обещал. Для Тайни-Тима, который остался жив, он стал вторым отцом.

Он сделался совершенно другим – добрым другом, добрым хозяином и добрым человеком – таким добрым, которого вряд ли знал какой-либо добрый старый город в доброе старое время.

Некоторые смеялись, видя эту перемену, но он мало обращал на них внимания: он был достаточно мудр и знал, что есть немало людей на земле, осмеивающих вначале все хорошее. Знал, что такие люди все равно будут смеяться, и думал, что пусть лучше смеются они на здоровье, чем плачут. С него было достаточно и того, что у него самого было радостно и легко на душе.

Больше он уже не встречался с духами, но всю свою последующую жизнь помнил о них. Про него говорили, что он, как никто, встречает праздник Рождества. И хорошо, если бы так говорили о каждом из нас, да, о каждом из нас! И да благословит Господь каждого из нас, как говорил Тайни-Тим.

Эрнст Теодор Амадей Гофман **Щелкунчик и мышиный король** **Перевод Александра Соколовского**

Сочельник

Целый день двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

– Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой; это был маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице; вместо правого глаза был у него наклеен большой черный пластырь; волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник, и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копать в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, – и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, – словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.

– Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный? – повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крестный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

– Нет, нет, – сказала Маша, – крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, а потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

– Лебеди конфет не едят, – перебил Фриц, – да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трудхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:

– Ну, детки, пойдете смотреть, чем одарил вас младенец Христос!

Подарки

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель – Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, – и прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, – и тогда ты хорошо поймешь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку! Мари только воскликнула:

– Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой – трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

– Ах, мое милое платьице! – в восторге воскликнула Маша. – Ведь оно точно мое? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь – лютый зверь, ну да ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадрон новых гусар в ярко-красных, с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабелями и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришел черед подаркам крестного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись – и что же увидели дети! На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка открылись, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзолчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера, в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

– Крестный, крестный! Позволь мне войти в этот замок!

Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который, со всеми его золотыми башенками, был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

– Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!

– Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, – возразил крестный.

– Ну так вели ему, – продолжал Фриц, – гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

– И этого нельзя, – был ответ.

– Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

– Ничего этого нельзя, – ответил немного обиженный крестный, – в механизме все сделано раз и навсегда.

– Во-о-т как, – протяжно сказал Фриц. – Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать – словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же; она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

– Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором, ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили.

Любимец

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговиц и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.

– Ах, – воскликнула Мари, – кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?

– Это вам всем, милые дети, – отвечал папа, – и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас щелкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых, белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал – щелк! – и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое, вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.

– Ну, Мари, – сказал папа, – так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе; береги его и защищай; хотя, впрочем, в его обязанность входит щелкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза под села к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услышав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось – крак-крак! – и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

– Ах, мой бедный Щелкунчик! – заплакала Мари, отобрав его у Фрица.

– Э, да какой он глупый! – закричал Фриц. – Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

– Нет, нет, оставь, – со слезами сказала Мари, – я тебе не дам моего милого Щелкунчика, посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик: ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

– Потому что так надо, – возразил Фриц, – и ты в этом ничего не смыслишь; а Щелкунчика все-таки дай мне; его подарили нам обоим!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

– Я поручил Щелкунчика беречь Мари, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

– Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж, верно, была какая-нибудь на то своя причина.

Чудеса

В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премильную комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), – итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая, чистая кровать, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер; стрелка часов показывала двенадцатый; крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.

– Правда, правда, – сказал Фриц, – надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, я это знаю хорошо.

С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, несколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.

– Приходи же скорей, Мари, – сказала мама, уходя в свою комнату, – если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет встать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.

– Ах, мой милый Щелкунчик! – сказала она. – Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил; Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он на такие штуки мастер...

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера Щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки.

Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.

– Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

– Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу на диван; ведь ты здорова; посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.

– И чего я церемонюсь! – сказала Мари и, взяв кровать, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

«Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен», – подумала Мари и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут – слушайте внимательно, дети! – тут за печкой, за стульями, за шкафами – словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую, кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

– Хррр...р! Часики, идите! – тише, тише, не шумите! – король мышиный к вам идет! – войско свое ведет! – хрр...р – хрр-р! бим-бом! – бейте, часики, бим-бом!

И затем, мерно и ровно, часы пробили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

– Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей, под карнизами, выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! – так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Маши по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, так же как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверно, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед за тем выглянуло целых семь мышиных голов с золотыми коронами, и – представьте – все эти семь голов сидели на одном туловище! Большая семиголовая мышь с золотыми коронами

выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышинового войска, которое встречало ее с громким, торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана – сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет, но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. – и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:

– В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

– Ах, это колокольчики в игрушке крестного, – радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые.

Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь:

– Крак, крак! Мышиный король дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак!

При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:

– Эй, вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

– Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они все, вместе со Щелкунчиком, прыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, несколько не ушибившись, а каково было прыгнуть, почти на два фута вниз, бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.

– Ах, моя милая, добрая Клерхен! – воскликнула Мари. – Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику.

Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила:

– О принц! Неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Оставайтесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы! Паяц, Полишинель, трубочист, тиролоц и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, оставайтесь со мной!

Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:

– О сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!

Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:

– Нет, сударыня, нет, не этим! – и, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой.

Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари!

Однако что-то будет, что-то будет!

Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная, густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами!

Что-то будет! Что-то будет!

Сражение

– Бей походный марш, барабанщик! – громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу.

Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска Фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, впопыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

– Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места! – крикнул он сердито и затем, обратясь к побледневшему Полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал: – Генерал! Я знаю вашу храбрость и опытность. Вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией. Самому вам лошади не надо, у вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность!

Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздалось из шкафа ему в ответ; кирасиры, драгуны, а главное – новые, блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! – раздался первый залп, и Мари увидела, как ядра из драже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых, круглых пряников, от которых они с писком разбежались в разные стороны.

Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты, но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали, и их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трудхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.

– О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет! Я! Самая красивая кукла! – воскликнула Клерхен.

– Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах! – перебила Трудхен; и, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения.

А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить! Прр...р! Пиф-паф, пуф! Трах, тарарах! Бим, бом, бум! – так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиноного короля и его мышей да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувядаемой славой, но вдруг гусары Фрица были забросаны артиллерией мышей отвратительными, зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а наконец и самому себе, так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминной скамейке батарею; и действительно,

не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку, так что пушки, артиллеристы, прислуга – словом, все покапало по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты, без сомнения, знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство, и я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и, вдруг выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг Щелкунчика, но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность – надо было перелезть через порог шкафа, – мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и т. п., с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову, а тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей; как только кровожадный солдат мышинной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. «Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?» – так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам, с золотыми лицами, шляпами и шлемами, но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а, напротив, сбили шляпу с самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:

– Коня! Коня! Полцарства за коня!

В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ; мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:

– О, мой бедный Щелкунчик! – и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей.

В тот же миг все словно прахом рассыпалось; Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.

Болезнь

Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мари увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон.

Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:

– Ну вот, она очнулась.

Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.

– Ах, милая мамочка! – залепетала Мари. – Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?

– Полно, Мари, болтать всякий вздор, – сказала мама, – какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уж без того напугала нас всех; видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку, и если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и истечь кровью, а то и лишиться руки. Слава Богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, всю в крови и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамена; Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты.

– Ах, мама, мама! Вот видишь! Это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.

Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:

– Хорошо, хорошо! Пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик, веселый и здоровый, стоит в твоём шкафу.

Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь Щелкунчик ее спасся, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил: «О моя милая, прекрасная Мари! Как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!»

Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла, из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки.

Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:

– Ну-ка дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари!

Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:

– Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтоб они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиною короля! Зачем ты не помог Щелкунчику, не помог мне, гадкий крестный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!

– Что с тобой, Мари? – спросила мама с испуганным лицом; но крестный вдруг скорчил какую-то престранную гримасу и забормотал нараспев:

– Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Бейте, часики, тик-тук! Тик да тук, да тик, да тук! Бим-бом, бим-бам! Клинг-кланг, клинг-кланг! Бейте часики сильнее! Прогоните всех мышей! Хинк-ханк, хинк-ханк! Мыши, мыши, прибегайте! Глупых девочек хватайте! Клинг-кланг, клинг-кланг! Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Ппр-пурр, ппр-пурр! Шнарр-шнуurr, шнарр-шнуurr!

Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера.

– Крестный, крестный! – закричал он. – Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку.

Мама закусил губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:

– Послушайте, советник, что это, в самом деле, за неуместные шутки?

– О, господи, – рассмеялся советник, – разве вы не знаете моей песенки часовщика? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари.

Тут он сел к Маше на кровать и сказал:

– Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все его четырнадцать глаз. За это я тебя теперь порадую.

С этими словами крестный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого Щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть.

Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:

– Видишь, как крестный любит твоего Щелкунчика.

– Ну само собой, – возразил крестный, – только знаешь что, Мари, теперь у твоего Щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Пирлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?

– Послушай, крестный, – внезапно перебил Фриц, – зубы Щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?

– Ну ты, неугомонный! – проворчал советник. – Тебе нужно все знать и во все совать свой нос; какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам где хочет!

– Правильно! – закричал Фриц. – Если он храбр, то добудет себе оружие.

– Ну так что же, Мари, – продолжил советник, – знаешь ты или нет историю про принцессу Пирлипат?

– Ах, нет, нет, милый крестный, – отвечала Мари, – расскажи мне ее, пожалуйста.

– Я надеюсь, советник, – сказала мама, – что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете.

– О, несколько, дорогая госпожа Штальбаум, – возразил советник, – напротив, она будет очень забавной.

– Рассказывай, крестный, рассказывай, – воскликнули дети, и советник начал так:

Сказка о крепком орехе

Мать принцессы Пирлипат была женой короля, а потому Пирлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:

– Гей-да! Видал ли кто-нибудь девочку милее моей Пирлипатхен?

И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:

– Не видали, не видали!

И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз, глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы вились прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пирлипатхен родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов, и, когда, спустя два часа после ее рождения, рейхсканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-ай-ай!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал: «Ой-ой-ой!» – но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхсканцлера за палец и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы.

Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех, и только одна королева вдруг стала, неизвестно почему, грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты и что у колыбели всегда сидели две няньки, королева приказала, чтобы еще шесть нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это того, почему каждая из этих шести нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу.

Раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королев, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и т. п. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете, тем более что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное время для колки свиной. Сказано – сделано! Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством; перед обедом же дружески сказал королеве:

– Ведь ты, дружок, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу...

Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки; когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух от варившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив: «Извините, господа, я сейчас ворочусь», – побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание.

Между тем кухне предстояло самое важное дело: поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что

королева, из любви и уважения к королю, хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок:

– Сестрица, сестрица! Позвольте мне кусочек! Ведь я такая же королева, как и вы; мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала.

Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:

– Сделайте одолжение, госпожа Мышильда, пожалуйста сюда и кушайте на здоровье.

Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут, вслед за крысой, прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное – семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математиком по равному кусочку на каждую колбасу.

Между тем трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах – кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже – собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью и затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола, со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест; лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс; наконец после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма жженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:

– Слишком мало сала!

Королева, едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:

– О бедный, несчастный супруг мой! – кричала она. – Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своей семьей сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало! – И с этими словами королева без чувств упала навзничь.

Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:

– Обергофмейстерина! Как это могло случиться?

Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне.

Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество; но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали, так же как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца.

Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала, и расставил их около крысиной норы.

Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело, но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и, привлеченные вкусным запахом сала, все ее семь сыновей, а также многие из прочих родственников попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне.

Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести.

Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из-под пола и сказала:

– Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтоб я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!

С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась, а испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо.

– Но, впрочем, на сегодня довольно; конец расскажу в другой раз, – неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил: «Много сразу – вредно для здоровья! Продолжение завтра».

С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:

– Крестный, крестный! Это правда, что ты выдумал мышеловки?

– Какой вздор ты городишь, Фриц! – сказала мама, но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:

– Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик; так почему же мне не выдумать?

Продолжение сказки о крепком орехе

– Теперь вы знаете, дети, – начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером, – почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе. Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы, и придворный астроном, носивший титул тайного обер-звездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности, причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности.

Как-то ночью случилось, что одна из двух обер-гофнянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась – тишина! Ни шороха, ни мурлыканья! И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами! С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда (это была она) успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было! Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась.

– Слава Богу, она жива! – воскликнули няни; но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком! Вместо белой, с розовыми щечками, кудрявой головки, на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная, уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей!

Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:

– О, несчастный я монарх!

Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение четырех недель во что бы то ни стало вылечил принцессу или, по крайней мере, указал верное к тому средство; в противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова.

Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг.

Наступила среда четвертой недели, и король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:

– Христиан Дроссельмейер! Или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!

Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело шелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам,

а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами.

– О святой инстинкт природы! – воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. – О неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу – и тайна откроется!

Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в грудe книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого, упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех Кракатук, и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко.

Орех Кракатук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить сорокавосемифунтовое пушечное ядро. Мало того – этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза.

Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа, и наконец в субботу во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана.

– Сейчас же после обеда, – сказал он, – мы испытаем это средство; позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы, да, главное, не давайте ему вина, чтоб он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные семь шагов; потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех Кракатук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев:

– Так прощайся же со своей головой!

На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминула ему представить добрая, тронутая участью Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король, хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба – часовщик и звездочет – немедленно отправятся на поиски ореха Кракатука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях...

Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером.

Конец сказки о крепком орехе

На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее:

– Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около шестнадцати лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Кракатука. Какие страны они посетили, какие диковинки видел – этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырех недель, а потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера.

– О, мой милый, родной Нюрнберг! – воскликнул он. – Какие бы города ни посетил путешественник – Лондон, Париж, Петервардейн, но, увидя тебя в первый раз, с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все!

Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь с силами, отер слезы и сказал:

– Послушай, любезный друг! Какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что! Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Кракатук.

– А что, ведь и в самом деле! – ответил, развеселившись, Дроссельмейер.

Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Кракатука, и, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:

– Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!

Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования, рассказал, как он два года прожил у Финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Кракатуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:

– Гм, гм! Эге! Вот оно как!

Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:

– Ну, братец! Ведь ты счастливец! Верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!

С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее:

– Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю, но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно

улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.

Сомнение в том, точно ли это орех Кракатук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово «Кракатук».

Можно себе было представить радость путешественников! Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что, кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба: и часовщик и астроном – уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:

– Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Кракатук, но и маленького человечка, который должен его раскусить; и это не кто иной, как сын нашего почтенного хозяина! Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа!

С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами.

Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он, два Рождества кряду, исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто: так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:

– Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее: во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее, с помощью пружин, с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех Кракатук, он даст принцессу Пирлипат в жены и сделает наследником престола.

Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Пирлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки.

Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившись ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу, среди них было даже несколько принцев.

Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными, тощими ручонками едва держало огромную, уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличилось из-за белой, точно нитяной, бороды, которой обросли ее губы и подбородок.

Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали

себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти; зубные врачи только приговаривали:

– Ну! Вот так орех!

Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку.

Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:

– Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!

Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера Кракатук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы, и раздалось – крак! Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнически колени, подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг – о чудо! – уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками, глаза засверкали, точно голубые звездочки, а волосы завились прелестными золотыми колечками.

Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколona, потому что ей от радости сделалось дурно.

Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться семь шагов; однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы; молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же уродца, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиной тяжелый деревянный плащ.

Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но, однако, они заметили, что и крыса, вся в крови, лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец.

Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:

– Орех Кракатук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи! Пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжело, тяжело дышать! Пришла пора умирать! Пик!

С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере между тем, казалось, все позабыли, но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:

– Прочь, прочь, гадкий Щелкунчик!

Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери.

Король, рассердившись, что ему хотели навязать в зятя такого уродца, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдения и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего мышинным королем, и если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого

Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем!

Вот вам, дети, сказка о крепком орехе! Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему Щелкунчики бывают такие уроды!

Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат – недобрая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышинным королем и возвратит себе свою прежнюю красоту.

Дядя и племянник

Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случилось когда-нибудь порезаться стеклом, то он, без сомнения, помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому Щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми, крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли Щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре Щелкунчика с мышинным королем? Рассуждая далее, она пришла к выводу, что Щелкунчик ее не кто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера.

В том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. «Но почему же не помог тебе твой дядя?» – сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. «Если, – думала Мари, – все куклы называли тогда себя его подданными, то значит, пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».

Рассуждая так, умненькая Маша заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.

– Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер, – говорила она, обращаясь к Щелкунчику, – если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно.

Щелкунчик остался недвижим, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик: «Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук – я буду твой!»

Мари испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство.

Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным; Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:

– Крестный! А ведь я знаю, что мой Щелкунчик – это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышинным королем, сыном крысы Мышильды; почему же ты ему не помогаешь?

При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.

– Откуда эта девочка набралась такого вздора? – сказал советник медицины.

– У нее очень живая фантазия, – ответила мама, – и все это не более чем горячечный бред.

– Да притом это неправда, – закричал Фриц, – мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!

Крестный, между тем ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, глядя ее по головке:

– Не слушай их, моя маленькая Мари! Тебе Бог дал больше, чем всем нам! Ты, как моя Пирлипатхен в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном, прекрасном королевстве, что же касается твоего Щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя: мышиный король преследует его везде; не я, а ты одна можешь его спасти, будь только стойкой и преданной!

Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами, а советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:

– Эге, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове, я вам что-нибудь пропишу.

Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:

– Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами.

Победа

Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.

– Ах, мыши! Это опять мыши! – с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами:

– Хи-хи-хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего Щелкунчика! – и, сказав это, опять исчез в своей норе.

Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала:

– Какая неприятность, у нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты.

Так оно и было. Жадный мышиный король, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу, но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего Щелкунчика. Но, что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист! Мышиный король сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:

– Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол или я разгрызу пополам твоего Щелкунчика! Разгрызу, разгрызу!

Сказав это, он опять исчез под полом.

Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушкой, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были два почтальона с письмами да кроме того четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец; был Пахтер Фельдкюммель с Орлеанскою девою, которые, впрочем, не особенно нравились Маше; всех же более любила она маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к Щелкунчику, сказала:

– Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело!

Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного короля, с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решила спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюммеля с Орлеанскою девою – в первый.

– Нет, это уже слишком! – воскликнула на другой день советница. – У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу! Представьте, что все сахарные куколки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски!

Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:

– Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти!

– Ну как не быть? – весело воскликнул Фриц, – Внизу у булочника есть отличный серый кот; надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышинный король!

– Да, – прибавила мама, смеясь, – а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки.

– О нет! – возразил Фриц. – Это очень ловкий кот; я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.

– Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, – сказала Луиза, которая их очень не любила.

– Я думаю, – сказал советник, – что Фриц прав, а пока можно будет поставить и мышеловку; ведь у нас она есть?

– Что за беда, если и нет, – закричал Фриц, – крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!

Все засмеялись, когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную.

Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:

– Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!

Фриц же тотчас выхватил саблю и закричал:

– А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!

Но все оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:

– Ну смотри, крестный-часовщик! Не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!

Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышинный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной, дрожащей Мари:

– Хитри, хитри! В оба смотри! Я ведь ловок! Не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платьице и ботинки! Ане то – ам-ам! Щелкунчика пополам! Хи-хи! Пи-пи, квик-квик!

Можно себе представить горе Мари! Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана, но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:

– Полно, успокойся, милая Мари! Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота.

Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:

– Ах, мой добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышинному королю все мои книжки с картинками

и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня! О, бедная, бедная я девочка! Что же мне делать, что мне делать?

Так плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:

– Ах, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Милый, единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев! Достаньте мне саблю, только саблю!.. А об остальном уж позабочусь я сам!

На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя?

Мари решила посоветоваться с Фрицем и вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышинным королем и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти.

Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так, и, когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:

– Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику; вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна.

Отставной полковник проживал на пожалованную ему Фрицем пенсию в углу, на третьей полке шкафа; его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее Щелкунчику.

Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало, и сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.

– Мышинный король! Мышинный король! – воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:

– Успокойтесь, милая фрейлейн Штальбаум, у меня хорошие вести!

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платье и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой, зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:

– О дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить! Мышинный король, смертельно раненный, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы!

С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, семь корон мышинного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.

– Теперь, когда враг мой повержен, – продолжал Щелкунчик, – я покажу вам, дорогая фрейлейн Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы; решитесь только последовать за мною; решитесь, прошу вас! Не бойтесь ничего!

Кукольное царство

Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым, милым Щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:

– Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выпалась.

– Ну в таком случае, – возразил Щелкунчик, – я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу.

Он пошел вперед, а Мари за ним, пока наконец оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная сделанная из кедрового дерева лестница.

– Взойдите по этой лестнице, милая Мари, – крикнул Щелкунчик сверху.

Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет, и она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.

– Мы на Леденцовом лугу, – сказал Щелкунчик, – и сейчас пройдем вон через те ворота.

Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора белого, шоколадного и розового цветов, но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом, потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались Миндально-Изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами обжор-студентов. На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян и играли янычарский марш, так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу.

Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного лежавшего по обе стороны дороги леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели, точно хрустальные колокольчики, и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.

– Ах, как здесь хорошо! – воскликнула восхищенная Мари.

– Мы в лесу Детских рождественских подарков, – сказал Щелкунчик.

– О, погодите же, не идите очень скоро, здесь так хорошо, – продолжала Мари.

Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки

протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.

– Извините, милая фрейлейн Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога; им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?

– Да что вы, балет был просто прелесть какой и мне очень понравился! – сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком.

Они пошли вдоль светлого, струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.

– Это Апельсиновый ручей, – ответил Щелкунчик на расспросы Мари, – он правда очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с Лимонадной речкой, впадающей в озеро Миндального молока, которые мы сейчас увидим.

До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды, и скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлады веяла от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом; на берегу его сидели красивые детки и удили маленьких, толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами – все темного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.

– Это деревня Медовых пряников, – сказал Щелкунчик, – и лежит она на берегу Медового ручья; жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем.

В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения; сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.

– Мы в Конфетенхаузене, – сказал Щелкунчик, – куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из Бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух, вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны: в столицу! В столицу!

Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полная любопытства Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск сверкавшей, как заря, водной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более, по мере того как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.

– Ах, – воскликнула в восторге Мари, – это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер, а я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!

Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:

– Ну нет! Крестному такой вещи не сделать! Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум... Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить, отправимся лучше по Розовому озеру в столицу.

Столица

Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего; волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним сверкавшую, точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких арапчат, в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру.

Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой, кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн: «Послушайте, скорее, скорее! – навстречу хорошенькой фее! Мушки, жужжите! Рыбки, плывите! Лебеди, песенки пойте! Волны, кружитесь, играйте! – Птички, над нами летайте! Динь-дин-дон! Динь-динь-дон!»

Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким арапчатам, сопровождавшим Мари; они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали, и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою: «Клип-клап! Клип-Клап! Не уступит вам арап! Рыбки, прочь! Птички, прочь! Клип-клап! Клип-клап!»

– Арапчата – веселый народ, – сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством, – но они у меня взбаламутят сейчас все море.

И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мари этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные улыбающиеся лица.

– Ах, – радостно воскликнула она, всплеснув руками, – посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь это принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!

Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

– О моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Это не принцесса Пирлипат, а вы, вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!

Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес Детских подарков; так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат.

– Мы в Цукатной роще, – сказал Щелкунчик, – а там лежит столица.

Боже! Что увидела Мари, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами.

Когда Мари со Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:

– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!

Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дроссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен; удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.

– О милая фрейлейн Штальбаум, – ответил тот, – в этом нет ничего удивительного: Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдете, прошу вас, дальше.

Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть! Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в видеobelиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, оршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из сбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари.

Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины – словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт: толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине Великого Могола, сопровождаемого девяносто тремя подвластными ему князьями и семьями невольниками, и надо же было случиться, что навстречу ему попало торжественное шествие цеха рыбаков, в количестве пятисот человек; да, кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с тремя тысячами янычар, к тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая, с музыкой и звоном, торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые! Раздались жалобные крики; один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а Великий Могол чуть не был сбит с ног арлекином. Свалка принимала все более и более опасный характер, и дело почти уже доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез наobelиск, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось; каждый кинулся спасаться как мог; Великий Могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.

– Кто такой этот кондитер? – спросила Мари.

– Ах, милая фрейлейн Штальбаум, – отвечал Щелкунчик, – кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу; она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким, веселым народцем, и все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумье о том, что такое жизнь и что такое есть он сам!

В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, с множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар, звездочек.

– Мы перед Марципановым замком, – сказал Щелкунчик.

Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких

человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам:

– Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или, лучше сказать, даже совершенная погибель; великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, да жители успели его умиловить, поднеся ему, в виде выкупа, целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше.

В эту минуту послышались звуки тихой, нежной музыки, ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли двенадцать маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах: Мари сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью:

– О милый принц! Милый братец!

Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:

– Вот фрейлейн Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если б она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем! Судите сами, может ли сравниться с фрейлейн Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, тысячу раз нет!

Дамы воскликнули:

– Нет! Нет! – и со слезами бросились обнимать Мари.

– О милая, добрая спасительница нашего брата! Прелестная фрейлейн Штальбаум!

Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева.

Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом устали они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды – все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:

– Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки.

Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку, а Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный мышиный король наверно раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами, и т. д. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки; а затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкун-

чика легкой прозрачной пеленой, так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними; пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она, точно на легких, качающихся волнах, поднималась куда-то высоковысоко, все выше... выше...

Заключение

Та-ра-ра-бух! – вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге открыв глаза, увидела она, что лежит в своей кровати, светлый день глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:

– Как же ты, Мари, так долго спишь! Ведь уже завтрак на столе.

Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ею чудесами в Марципановом замке, в конце концов заснула и что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой, в ее кровать.

– Ах, мамочка, милая моя мамочка! Если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Дроссельмейер и какие чудеса я видела! – воскликнула Мари и при этом рассказала все, что я вам уже рассказал, на что мама удивилась и сказала:

– Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы.

Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда, так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего, по обыкновению, на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:

– Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?

– Ах, мама, – перебила ее Мари, – да ведь Щелкунчик – это молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Дроссельмейера!

Тут оба, и советник и советница, разразились неудержимым смехом.

– Папа, папа! – почти со слезами говорила Мари. – Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон мышиноного короля и сказала, подавая их маме:

– Так вот смотри же, мама: видишь эти семь корон мышиноного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.

Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего металла и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтоб Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала, и, когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:

– Бедная, бедная я девочка! Что же должна я говорить?

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный.

– Что это? – воскликнул он. – Моя милая крестница Мари плачет! Что это значит?

Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:

– Так вот в чем дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и два года тому назад подарил Мари в день ее рождения. Разве вы забыли?

Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:

– Крестный, крестный! Ты все знаешь, уверь их, что Щелкунчик мой – твой племянник, молодой Дроссельмей-ер из Нюрнберга и что коронки подарены мне им!

Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:

– Какая, однако, глупая штука вышла!

Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

– Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости! Если же ты еще станешь уверять, что твой глупый Щелкунчик племянник господина Дроссельмейера, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих куколок, не исключая мамзель Клерхен.

С тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало, хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие они видела! Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш! Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидал! Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры!

Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и, вместо того чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.

– Ах, милый господин Дроссельмейер, – вдруг невольно сорвалось с ее языка, – если бы вы жили на самом деле, то поверьте, я не поступила бы с вами как принцесса Пирлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту!

– Ну-ну, глупые выдумки! – вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело, и она без памяти свалилась со стула.

Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:

– Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка! Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга; будь же умницей и веди себя при нем хорошо.

Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, – словом, кровь с молоком; на нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса; маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу.

Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими – марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышинный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу, раздавалось – крак! – и орех рассыпался на кусочки.

Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека, и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройти вместе с ним к стеклянному шкафу.

– Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, – сказал крестный, – я ничего не имею против; теперь все мои часы в порядке.

Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:

– О милая, дорогая фрейлейн Штальбаум! Примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною как злая принцесса Пирлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым Щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность! О милая фрейлейн! Осчастливьте меня вашей рукой! Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владительницей Марципанового замка!

Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:

– Милый господин Дроссельмейер! Я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой!

Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера.

Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали двадцать две тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками – словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи.

Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиноного короля.

Николай Гоголь

Ночь перед рождеством

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа². Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкой, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверх. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец³: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми

² Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает Сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасечника. (Прим. автора.)

³ Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед – все немец. (Прим. автора.)

руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых; и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель, и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетилловских смушек с суконною покрывкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура – взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

– Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? – говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. – Там теперь будет добрая попойка! – продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. – Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут – страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился...

– Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

– Что? – произнес кум и поднял свою голову также вверх.

– Как что? месяца нет!

– Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

– То-то что нет, – выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. – Тебе небось и нужды нет.

– А что мне делать!

– Надобно же было, – продолжал Чуб, утирая рукавом усы, – какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь – чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь – и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шуточки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

– Так нет, кум, месяца?

– Нет.

– Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

– Кой черт, славный! – отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. – Старая курица не чихнет!

– Я помню, – продолжал все так же Чуб, – мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

– Так, пожалуй, останемся дома, – произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

– Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? – говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. – Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, – продолжала красавица, не выпуская зеркала, – так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвилились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! – и, отодвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: – Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

– Чудная девка! – прошептал вошедший тихо кузнец. – И хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

– Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, – продолжала хорошенькая кокетка, – как я плавно выступаю: у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете! – И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз – вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

– Зачем ты пришел сюда? – так начала говорить Оксана. – Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

– Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие

цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

– Кто же тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

– Позволь и мне сесть возле тебя! – сказал кузнец.

– Садись, – проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

– Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! – произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй. Но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на не приметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

– Чего тебе еще хочется? Ему, когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, – думал про себя, повеся голову, кузнец. – Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

– Правда ли, что твоя мать ведьма? – произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо вострепнувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

– Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами», – «Не хочу, – сказал бы я царю, – ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

– Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах, Увидишь, когда он не женится на твоей матери, – проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана, – Однако ж дивчата не приходят, Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

– Бог с ними, моя красавица!

– Как бы не так! с ними, верно, придут парубки, Тут-то пойдут балы, Воображаю, каких наговорят смешных историй!

– Так тебе весело с ними?

– Да уж веселее, чем с тобою, А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? – говорил сам с собою кузнец, – Она издевается надо мною, Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова, Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною, Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу,»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» – прервал его размышления.

– Постой, я сам отворю, – сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки,

Немудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато́й горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то немудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посередине хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешая, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поестъ жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой кряк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал неволью в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов. Восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою.

В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила нелишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более

бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою петровкой, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевелинуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» – бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и мелевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъясил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

– Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, – сказал, немного отошедши, Чуб, – я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи Сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и наконец набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнув с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решил идти сам.

Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

– Чего тебе тут нужно? – сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, – говорил он про себя, – в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

– Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? – произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, – подумал Чуб, – чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» – и, переменив голос, отвечал:

– Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

– Убирайся к черту с своими колядками! – сердито закричал Вакула. – Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

– Что ж ты, в самом деле, так раскричался? – произнес он тем же голосом. – Я хочу колядовать, да и полно!

– Эге! да ты от слов не уймешься!.. – Вслед за сими словами Чуб почувствовал пре-
большой удар в плечо.

– Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! – произнес он, немного отступая.

– Пошел, пошел! – кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

– Что ж ты! – произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. – Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

– Пошел, пошел! – закричал кузнец и захлопнул дверь.

– Смотри, как расхрабрился! – говорил Чуб, оставшись один на улице. – Попробуй подойти! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скинуть кожуха! Пстой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно... Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» – и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

– Э, Одарка! – сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек. – У тебя новые черевички! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевички.

– Не тужи, моя ненаглядная Оксана! – подхватил кузнец. – Я тебе достану такие черевички, какие редкая панночка носит.

– Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

– Видишь, какие захотела! – закричала со смехом девичья толпа.

– Да, – продолжала гордо красавица, – будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

– Смейся, смейся! – говорил кузнец, выходя вслед за ними. – Я сам смеюсь над собою! Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит – ну бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос днюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, вернулся к ней, в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

– Спрячь меня куда-нибудь, – шептал голова. – Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, побряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами до ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

– А что это у вас, великолепная Солоха? – И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

– Как что? Рука, Осип Никифорович! – отвечала Солоха.

– Гм! рука! хе! хе! хе! – произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

– А это что у вас, дражайшая Солоха? – произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.

– Будто не видите, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. – Шея, а на шее монисто.

– Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! – И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

– А это что у вас, несравненная Солоха?.. – Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

– Ах, боже мой, стороннее лицо! – закричал в испуге дьяк. – Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

– Ради бога, добродетельная Солоха, – говорил он, дрожа всем телом. – Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трин... трин... Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

– Здравствуй, Солоха! – сказал, входя в хату, Чуб. – Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. – продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. – Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? – И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. – Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... эх окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга...

– Отвори! – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

– Стучит кто-то, – сказал остановившийся Чуб.

– Отвори! – закричали сильнее прежнего.

– Это кузнец! – произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. – Слышишь, Солоха, куда хочешь देвай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъять кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этому уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

– Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? – говорил кузнец. – Не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, – вскричал он, помолчав и ободрившись, – что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму, – И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. – Взять и этот, – продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. – Тут, кажется, я положил инструмент свой. – Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпустил щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кшъце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк захохотал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными глазами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

– А, Вакула, ты тут! здравствуй! – сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. – Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевки, которые носит царица, достал? достань черевки, выйду замуж! – И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше... – произнес он наконец. – Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

– Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

– Куда, Вакула? – кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

– Прощайте, братцы! – кричал в ответ кузнец. – Даст Бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

– Он повредился! – говорили парубки.

– Пропадшая душа! – набожно пробормотала проходившая мимо старуха. – Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести духа. «Куда я, в самом деле, бегу? – подумал он, – как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и казалось – винокуренная кадья двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли

кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадучкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот, – подумал Вакула про себя, – еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

– Я к твоей милости пришел, Пацюк! – сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

– Ты, говорят, не во гнев будь сказано... – сказал, собираясь с духом, кузнец, – я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, – приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадучку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решил продолжать:

– К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! – Кузнец иногда умел вернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. – Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? – произнес кузнец, видя неизменное его молчание. – Как мне быть?

– Когда нужно черта, то и ступай к черту! – отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

– Для того-то я и пришел к тебе, – отвечал кузнец, отвешивая поклон, – кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

– Сделай милость, человек добрый, не откажи! – наступал кузнец. – Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

– Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, – произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадучки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаню. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, – говорил он сам

себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако что за черт! ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься... Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

– Это я – твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, – пискнул он ему в левое ухо. – Оксана будет сегодня же наша, – шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

– Изволь, – сказал он наконец, – за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! – думал он про себя. – Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромым черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

– Ну, Вакула! – пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. – Ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

– Я готов! – сказал кузнец. – У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! – Тут он заложил назад руку – и хватить черта за хвост.

– Вишь, какой шутник! – закричал, смеясь, черт. – Ну, полно, довольно уже шалить!

– Постой, голубчик, – закричал кузнец, – а вот это как тебе покажется? – При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. – Постой же, – сказал он, стаскивая его за хвост на землю, – будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! – Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

– Помилуй, Вакула! – жалобно простонал черт, – Все что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

– А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать, Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

– Куда? – произнес печальный черт.

– В Петербург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца, Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним, Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицею на селе? Но нет, он меня любит, Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается, Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня, Я в самом деле сурова, Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя, То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

– Пойдите, – сказала одна из них, – кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

– Это кузнецовы мешки? – подхватила Оксана, – Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

– Но мы не поднимем их! – закричала вся толпа вдруг, сияясь сдвинуть мешки.

– Пойдите, – сказала Оксана, – побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс – сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата доvezут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худошавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

– Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! – сказал он, осматриваясь по сторонам. – Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в шмак: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. – Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. – Нет, одному будет тяжело несть, – проговорил он, – а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

– Здравствуй, – сказал, остановившись, ткач.

– Куда идешь?

– А так, иду, куда ноги идут.

– Помоги, человек добрый, мешки снести! кто-то колядовал, да и кинул посередине дороги. Добром поделимся пополам.

– Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

– Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

– Куда ж мы понесем его? в шинок? – спросил дорогою ткач.

– Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жиловка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. – Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

– Да точно ли нет дома? – спросил осторожный ткач.

– Слава Богу, мы не совсем еще без ума, – сказал кум, – черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

– Кто там? – закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

– Вот тебе на! – произнес ткач, опустил руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходявший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

– Вот это хорошо! – сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. – Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

– Лысый черт тебе покажет, а не мы, – сказал, приосанясь, кум.

– Тебе какое дело? – сказал ткач. – Мы наколядовали, а не ты.

– Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! – вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворнохватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

– Что мы допустили ее? – сказал ткач, очнувшись.

– Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? – сказал хладнокровно кум.

– У вас кочерга, видно, железная! – сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину, – Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, – та ничего... не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

– Э, да тут лежит целый кабан! – вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

– Кабан! слышишь, целый кабан! – толкал ткач кума. – А все ты виноват!

– Что ж делать! – произнес, пожимая плечами, кум.

– Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

– Пошла прочь! пошла! это наш кабан! – кричал, выступая, ткач.

– Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! – говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

– Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! – сказал кум, выпуча глаза.

– Вишь, какого человека кинуло в мешок! – сказал ткач, пятясь от испугу, – Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

– Это кум! – вскрикнул, взглядевшись, кум.

– А ты думал кто? – сказал Чуб, усмехаясь. – Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Пойдите же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

– Вот и другой еще! – вскрикнул со страхом ткач, – Черт знает как стало на свете, голова идет кругом, не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

– Это дьяк! – произнес изумившийся более всех Чуб, – Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок, То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков, Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека, А я думал, что она только мне одному., Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка, «Нечего делать, будет с нас и этого», – лепетала Оксана, Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развяжали мешок, – глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрипучему снегу, Множество, шая, садилось на санки; другие взбирались на самого голову, Голова решился сносить все, Наконец проехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

– Посмотрим, что-то лежит тут, – закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

– Ах, тут сидит кто-то! – закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

– Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? – сказал, входя в дверь, Чуб.

– Ах, батько! – произнесла Оксана, – В мешке сидит кто-то!

– В мешке? где вы взяли этот мешок?

– Кузнец бросил его посередь дороги, – сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?» – подумал про себя Чуб.

– Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловіче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

– Ах! – вскрикнули девушки.

– И голова влез туда же, – говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, – вишь как!.. Э!.. – более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

– Должно быть, на дворе холодно? – сказал он, обращаясь к Чубу.

– Морозец есть, – отвечал Чуб. – А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» – но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

– Дегтем лучше! – сказал голова. – Ну, прощай, Чуб! – И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

– Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! – произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. – Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак... да где же тот проклятый мешок?

– Я кинула его в угол, там больше ничего нет, – сказала Оксана.

– Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько... Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее – как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел, как муха, под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма... много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло дальше и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! – подумал кузнец. – Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, – подумал куз-

нец. – Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

– Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

– Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! – сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

– Что там за человек? – спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

– А вы не узнали? – сказал кузнец. – Это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

– А! – сказал тот же запорожец. – Это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

– А так, захотелось поглядеть, говорят...

– Что же, земляк, – сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, – што бал-шой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

– Губерния знатная! – отвечал он равнодушно. – Нечего сказать: дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

– После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

– К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

– Тебя? – произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. – Что ты будешь там делать? Нет, не можно. – При этом на лице его выразилась значительная мина. – Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.

– Возьмите! – настаивал кузнец. – Проси! – шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

– Возьмем его, в самом деле, братцы!

– Пожалуй, возьмем! – произнесли другие.

– Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! – думал про себя кузнец. – У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

– Что за лестница! – шептал про себя кузнец. – Жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! – рассуждал он. – Вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан; а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, – продолжал он, подходя к двери и щупая замок, – еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали...»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

– Все ли вы здесь? – спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

– Та вси, батько! – отвечали запорожцы, кланяясь снова.

– Не забудете говорить так, как я вас учил?

– Нет, батько, не позабудем.

– Это царь? – спросил кузнец одного из запорожцев.

– Куда тебе царь! это сам Потемкин, – отвечал тот.

В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назад. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

– Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

– Встаньте, – прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

– Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а на встанем! – кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоящую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

– Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. – Хорошо ли вас здесь содержат? – продолжала она, подходя ближе.

– Та спасиби, мамо! Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, – почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

– Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слушали, что хочешь поворотить в карабинеры; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унижены его руки.

– Чего же хотите вы? – заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

– Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

– Встань! – сказала ласково государыня. – Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, – продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, – предмет, достойный остроумного пера вашего!

– Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! – отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

– По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, – продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, – я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

– Як же, мамо! ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, – отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! – подумал он сам себе, – верно, недаром он это делает».

– Мы не чернецы, – продолжал запорожец, – а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турещине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

– Боже ты мой, что за украшение! – вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. – Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чайтельно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решил замолчать; и, когда государыня, обратившись к старикам, начала спрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, – он, отошедши назад, нагнувшись к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» – и вдруг очутился за шлагбаумом.

– Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! – лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посередине улицы.

– Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украли? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? – кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. – Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

– Кузнец повесился? вот тебе на! – сказал голова, выходящий от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

– Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! – отвечала ткачиха. – Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролуде! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

– Срамница! вишь, чем стала попрекать! – гневно возразила баба с фиолетовым носом. – Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

– Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

– Дьяк? – пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синей китайкой. – Я дам знать дьяка! Кто это говорит – дьяк?

– А вот к кому ходит дьяк! – сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

– Так это ты, сука, – сказала дьячиха, подступая к ткачихе, – так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

– Отвяжись от меня, сатана! – говорила, пятясь, ткачиха.

– Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. – Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

– А, скверная баба! – закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. – Экая мерзость! – повторял он, продолжая обтираться. – Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, – продолжал он, задумавшись, – таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою

душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый – и не могла заснуть. То, разметавшись в обволакивающей нагоде, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать – и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участии Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частью в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник – как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда же это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. – Постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, которой не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность

в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему удивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

– Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его... Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

– Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

– Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

– Добре! присылай сватов!

– Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

– Погляди, какие я тебе принес черевики! – сказал Вакула. – Те самые, которые носит царица.

– Нет! нет! мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей. – Я и без черевиков... – Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

– Кузнеца Вакулы, – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

– Славно! славная работа! – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «*Он бачь, яка кака намалевана!*» – и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Николай Лесков

Жемчужное ожерелье

Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о вымысле, о фавуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский, – и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих“, в общем тарантасе или „на сдаточных“, – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а „куфарка“ у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку“ обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша прееет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; день-день-день и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фавулы его рассказов не страдают скудостью содержания.

– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фавулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланость и однообразие.

– Ну я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать. – Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время, и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век, и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

– А что же – я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

– Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

– О, будьте уверены – я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

– Да, – отвечал тот, – вот я и поведаю речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Назад тому три года брат приехал ко мне на Святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила – приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою: «Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

– Ну да постой же, – говорим, – все это прекрасно, и пусть будет по-твоему – Господь тебя благослови, – женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

– Что же – времени довольно: две недели Святки венчаться нельзя, – вы меня в это время сосватайте, а на Крещение вечером мы обвенчаемся и уедем.

– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть, немножко с ума сошел от скуки. (Слова «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело. Жена говорит мне:

– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и, пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

– Что это такое я уважал?

– Безотчетные симпатии, влечения сердца.

– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это – что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? Она именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я. – Так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству – мы ее замечаем и видим в самом зародыше.

– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек и Маша – премилая девушка, и они, как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят.

– Как! – закричал я, себя не помня. – Они уже и слово друг другу дали?

– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним – он, наверно, понравится старикам, и потом...

– Что же, что потом?

– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.

– Хорошо, – говорю, – хорошо – очень рад в подобную глупость не мешаться.

– Глупости никакой не будет.

– Прекрасно.

– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал – и Маше ничего не даст.

– Почему это знать? Он ее больше всех любит.

– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированную деликатностью, он и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?

– Ну, матушка, это ты дурачишься.

– Нет, не дурачусь.

– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, – вот и вся недолга.

– Ах, вот это-то!

– Ну, конечно.

– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – говорит, – никогда не думала, что по-твоему – получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «оставиться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

– Я говорю вовсе не о себе...

– Нет, отчего же?..

- Ну это странно, ma chere!
- Да отчего же странно?
- Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.
- Ну думал.
- Нет – совсем и не думал.
- Ну воображал.
- Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!
- Да чего же ты кричишь?!
- Я не кричу.
- И «черти»... «черт»... Что это такое?
- Да потому, что ты меня из терпения выводешь.
- Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...
- Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как Бог, окончил – как свинья». Я принял обиженный вид – потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь и сказал:

- Это свинство!
- А она отвечает:
- Mersi, мой милый муж.

Глава третья

Черт знает что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непере-носно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предска-зывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не назы-вал, а между тем вот мы с него, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не сму-щенной жизни, теперь разбранились, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины, и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду. И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

- Смотрю – в доме везде темно и тихо.
- Спрашиваю горничную:
- Где же барыня?

– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! – думаю. – Значит, она своего упорства не оставляет, – она таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат – воплощенная честность и деликатность. Тем лучше – пусть он их надует – и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые. Жена говорит мне:

– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином, а мы у Васильевых ужинали.

– Нет, – говорю, – покорно благодарю.

– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

– Вот как!

– Да – мы превесело провели время и шампанское пили.

– Счастливыцы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пошла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощения в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затейной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы – во что-нибудь вмешался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и, когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?

– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.

– Ага! Так вот уже как! Поздравляю.

– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.

– Ты, кажется, остришь?

– Нисколько я не острю.

– Или иронизируешь?

– И не иронизирую.

– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то будут... Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать – вернее.

– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

– И врешь.

– Как вру?!

– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

– А за что же?

– За то, что я тебе понравилась.

– Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

– Нимало – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

– Чтобы смотреть на меня.

– Неправда – я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

– Что за пустой смех!

– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал и изучать не мог.

– Это почему?

– Сказать?

– Сделай милость, скажи!

– Потому, что ты был в меня влюблен.

– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

– Мешало.

– Нет, не мешало.

– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно.

Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазете с воображением.

– Ну... однако, – говорю, – ты уж это как-то... очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедем к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

– Очень рад, – говорю. И поехали.

Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этакое настроение долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей – и мы от людей не отстали. Встретили мы

Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и злоещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«О-го-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, рясами, – назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное».

Но у женщин ведь на всё свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста *avec fleches d'Amour*, но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод – *d'eau douce*, тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила *perle d'eau douce*, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего *avec fleches d'Amour*, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожидаемые радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое еще с тобою случилось?

– А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

– Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

– Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».

Жена моя так и села.

– Вот, – говорит, – негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

– Ты неправ: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей – не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиной стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».

«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни – помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.

«Как же, – говорю, – получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре – я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку». «Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет – смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг фальшивый?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить...»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».

«Это для чего?»

«Так...»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?» «Да – это между прочим».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?»

«Да».

«Ну для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное – муж...»

«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и кроме того... муж, который желает быть счастливым, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«И, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слышал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?

– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю: «Знаете, Николай Иванович, – это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее – нет... Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, – оставьте у себя эти деньги, и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... не надо!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, – говорит, – тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».

«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что ты даришь...»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.

«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, „княгиня“ – тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива... за сестер!..»

«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья».

Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг – фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, – не простой, а слитый из Рюриковичей и Гединовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымысленность, он отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа.

Неразменный рубль

Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько раз его ни выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без единой отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожать кошку посильнее, так, чтобы она замыкала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль – ни больше ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и, когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный – то есть, сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, – он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во времена моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно закупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще – «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видал картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог купить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что он имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один – совершенно один – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, говорю, – я уже все знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз, что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы, – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком разе идем, – и бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвертая

Погода была хорошая – умеренный морозец, с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали,

стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душой в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребяташки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и, кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

«Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее».

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и закупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане.

– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка: – Это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сладостей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтиря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман, рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше – я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и закупил даже вещи слишком рискованные – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время – откуда ни возьмись – ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

– Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С ним не штука удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

– Да, если эта будет вещь ненужная – так я ее, разумеется, не куплю.

– Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся – и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал:

– Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я его отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блеснуть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка – есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что ненужные стеклышки, и – рубль твой растаял. Этому и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедem в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета со стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю.

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя.

И когда это мною было сделано, то сердце исполнилось такою радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастье, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

Привидения в инженерном замке ***Из кадетских воспоминаний***

Глава первая

У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, нечисто, то есть где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или, по крайней мере, непонятной силы. Спириты старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страшными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там жили или, по крайней мере, являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещательных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличила мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению – «пошел под кадетов».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежние инженерные кадеты. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напитывались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

Глава вторая

Особенно было в моде пугать новичков или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, – а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним,

а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то известный лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простыней и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведения. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастье испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место, то оно выходит очень трогательно.

Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадетов младших и старших, с тою, впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами поддельватели привидения его тоже побаивались. Так, иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

Глава третья

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много:

находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не заботился об их содержании, – а главное, был докучлив, придиричив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу, генерал Ламновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид до карикатурного преувеличения.

Самою смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этою целью они распускали в корпусе молву, что Ламновский знается с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносою маскою и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаю, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

Глава четвертая

Генерал Ламновский умер поздною осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Молешотт для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин: тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному установлению, панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой пани-

хиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды – все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пощунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть и настроить их чувства.

– «Ходит», – сказал он им, повторяя их же слова. – И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которой не сладишь. Это серый человек – он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек – совесть; советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти.

Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, – смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу и, чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность – возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон – в мир... Это заманчиво и страшно, и, чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно...

В таком состоянии было большинство кадет, особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самых важных лиц, а потому, кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин – все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

Глава пятая

Из четырех молодцов, составлявших караул, – один, именно К-дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К-дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К-дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «покаялся наказывать К-дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К-диным исполнит. К-дин в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К-дин в чем-нибудь попадет, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дробы приведет к одному знаменателю, «даст себя помнить на всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К-диным, что он делал над собою отчаянные усилия, и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, куда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К-дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

Глава шестая

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидалось высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена: Г-тон, В-нов, З-ский и К-дин. Ни в одной из прилегающих огромных комнат не было ни души...

В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет: он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это! кто!» – и, торопливо просунув голову в дверь, другою половиною этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом траурный зал, догадался по здешнему безлюдью, что все ушли уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускороленным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

Глава седьмая

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее – точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не про-

стил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки... К этому нужен только свой час – удобный час полночи,

...когда поет петух
И нежить мечется в потемках...

Но они же не достоят здесь до полуночи – их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора – в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки: мертвец в гробу и вокруг самое жуткое безмолвие... На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листьями кровельных загибов; печные трубы гудели с перерывами – точно они вздыхали или как будто в них что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка.

Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание: все как-то путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови – точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самое себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой... Выдерживать молчание становится невозможно – хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться – что-то сделать самое безрассудное.

Глава восьмая

Один из четырех стоявших у гроба генерала кадетов, именно К-дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

– Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К-дину:

– Молчи... и без того страшно, – и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

– Я оттого и говорю, что вам страшно, – отвечал К-дин, – а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да: надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец – это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

– Пожалуйста, ничего не доказывай.

– Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных, К-дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

– Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох – вздох очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном... И этот вздох – всем показалось, – по-видимому, шел прямо из гроба...

К-дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его за руку: за К-диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, – и, страшно вскрикнув, он упал на пол... Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по-другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, – и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное привидение в виде человека... Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость – сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

Глава девятая

Привидение не было мечтою воображения – оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения!.. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестящие болезненным огнем... Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К-дин взял покойника за нос.

Глава десятая

Увидав это грозное привидение, три оставшихся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К-дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену,

привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением лоя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг, и еще шаг, и, наконец, оно близко, оно подошло к гробу, но прежде, чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К-дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.

Глава одиннадцатая

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки зауспокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

– Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастье пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

– С этого случая, – говорил он, – всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.

Федор Достоевский Мальчик у Христа на елке

I. Мальчик с ручкой

Дети – странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»: это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза – стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмушая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то, наверно, их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекающимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он зарабатывает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего: ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

II. Мальчик у Христа на елке

Но я романист и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в *каком-то* огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потомдохнул на свои пальчики, чтоб согреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло, и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дадут пироги,

а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему, – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Антон Чехов

Мальчики

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, боже мой!

Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:

– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?

– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.

– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой погостить у нас.

– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйста! Наталья, помоги господину Чечевицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!

Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и всё еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.

– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожая? Ан ты и приехал... Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.

Три сестры Володи: Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, всё время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то всё время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.

Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:

– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.

Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.

После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбежала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:

– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?

– Господи боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.

В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.

– Сначала в Пермь... – тихо говорил Чечевицын... – оттуда в Тюмень... потом Томск... потом... потом... в Камчатку...

Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив... Вот тебе и Америка... Тут много пушных зверей.

– А Калифорния? – спросил Володя.

– Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:

– Вы читали Майн Рида?

– Нет, не читала... Послушайте, вы умеете на коньках кататься?

Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:

– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.

Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:

– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.

– А что это такое?

– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?

– Господин Чечевицын.

– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.

Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:

– А у нас чечевицу вчера готовили.

Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а всё думал о чем-то, – всё это было загадочно и странно.

И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкралась к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».

– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.

Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:

– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!

К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:

– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.

Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкралась к двери.

– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?

– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.

– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.

– Я... я не струсил, а мне... мне маму жалко.

– Ты говори: поедешь или нет?

– Я поеду, только... только погоди. Мне хочется дома пожить.

– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!

Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.

– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.

– По... поеду.

– Так одевайся!

И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал паропровод, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.

И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.

Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:

– Ах, мне так страшно!

До двух часов, когда сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их

не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!

На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.

Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.

– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.

– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.

И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и всё спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.

– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?

– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.

Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:

«Монтигомо Ястребиный Коготь».

На святках

I

– Что писать? – спросил Егор и умокнул перо.

Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула; ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью – и всё думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого.

Но вот пришли Святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяй-киному брату, который, как пришел со службы, так и сидел всё дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.

И теперь – это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне, – Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневую лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала и как будто даже говорила: «Флю-флю-флю». Было душно.

– Что писать? – спросил опять Егор.

– Чего! – сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. – Не гони! Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисан-фычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

– Есть. Стреляй дальше.

– А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа... Царя Небесного.

Василиса подумала и переглянулась со стариком.

– Чего и вам желаем от Господа... Царя Небесного... – повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжело вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!

– Жарко! – проговорил Егор, расстегивая жилет. – Должно, градусов семьдесят будет. Что же еще? – спросил он.

Старики молчали.

– Чем твой зять там занимается? – спросил Егор.

– Он из солдат, батюшка, тебе известно, – ответил слабым голосом старик. – В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах.

– Вот тут написано... – сказала старуха, вынимая из платочка письмо. – От Ефимьи получили, еще бог знает когда. Может, их уже и на свете нет.

Егор подумал немного и стал быстро писать.

«В настоящее время, – писал он, – как судьба ваша через себе определила на Военное Поприще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цивилизацию Чинов Военного Ведомства».

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до Святков, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст Богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?

«Обратите внимание, – продолжал Егор писать, – в 5 томе Военных Постановлений. Солдат есть Имя обчшее, Знаменитое. Солдатом называется Перьвейший Генерал и последней Рядовой...»

Старик пошевелил губами и сказал тихо:

– Внучат поглядеть, оно бы ничего.

– Каких внучат? – спросил старуха и поглядела на него сердито. – Да, может, их и нету!

– Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!

«И поэтому Вы можете судить, – торопился Егор, – какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Перьвейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Перо скрипело, выделявая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думал и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая привела его сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в лечебную силу воды.

Кончив писать, Егор встал и прочел всё письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.

– Ничего, гладко... – сказал он, – дай Бог здоровья. Ничего...

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

– У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо.

До станции было одиннадцать верст.

II

Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на Новый год так же, как в обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги, и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним – почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал:

– С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!

– Спасибо, любезнейший. И тебя также.

И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день спрашивал и всякий раз забывал):

– А в этой комнате что?

– Кабинет для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребенка; другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати.

Войдя в свою комнату, Андрей подал жене письмо и сказал:

– Должно, из деревни.

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется.

– Это от бабушки, от дедушки... – говорила она. – Из деревни... Царица Небесная, святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал, письма где-то завалились.

– А в поле зайчики бегают, – причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. – Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, Бога боятся... И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда Царица Небесная, заступница-матушка!

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни единого слова.

Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери.

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.

– А в этой комнате что? – спросил он, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко:

– Душ Шарко, ваше превосходительство!

Страшная ночь

Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом:

– Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи...

«Жизнь твоя близится к закату... Кайся...»

Такова была фраза, сказанная мне на сеансе Спинозой, дух которого нам удалось вызвать. Я просил повторить, и блюдечко не только повторило, но еще и прибавило: «Сегодня ночью». Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти, даже намек на нее повергают меня в уныние. Смерть, господа, неизбежна, она обыденна, но, тем не менее, мысль о ней противна природе человека... Теперь же, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак и перед глазами неистово кружились дождевые капли, а над головою жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределенный и неизъяснимый страх. Я, человек свободный от предрассудков, торопился, боясь оглянуться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения.

Панихидин порывисто вздохнул, выпил воды и продолжал:

– Этот неопределенный, но понятный вам страх не оставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвертый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошел в свою комнату. В моем скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и, словно просясь в тепло, постукивал в дверцу отдушника.

«Если верить Спинозе, – улыбнулся я, – то под этот плач сегодня ночью мне придется умереть. Жутко, однако!»

Я зажег спичку... Неистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рев. Где-то внизу застучала наполовину сорванная ставня, а дверца моего отдушника жалобно провизжала о помощи...

«Плохо в такую ночь бесприютным», – подумал я.

Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгоралась сера и я окинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное... Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички! Тогда, быть может, я ничего не увидел бы и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и, полный ужаса, отчаяния, изумления, закрыл глаза...

Посреди комнаты стоял гроб.

Синий огонек горел недолго, но я успел различить контуры гроба... Я видел розовый, мерцающий искорками газет, видел золотой галунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах. Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой газет, ножки, бронзовые ручки – всё говорило за то, что покойник был богат.

Опрометью выбежал я из своей комнаты и, не рассуждая, не мысля, а только чувствуя невыразимый страх, понесся вниз по лестнице. В коридоре и на лестнице было темно, ноги мои путались в полах шубы, и как я не слетел и не сломал себе шеи – это удивительно. Очу-

тившись на улице, я прислонился к мокрому фонарному столбу и начал себя успокаивать. Сердце мое страшно билось, дыхание сперло...

Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал:

– Я не удивился бы, если бы застал в своей комнате пожар, вора, бешеную собаку... Я не удивился бы, если бы обвалился потолок, провалился пол, попадали стены... Всё это естественно и понятно. Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, венский, сделанный, очевидно, для молодой аристократки, – как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пуст он или внутри его – труп? Кто же она, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанеся мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна!

«Если здесь не чудо, то преступление», – блеснуло в моей голове.

Я терялся в догадках. Дверь во время моего отсутствия была заперта, и место, где находился ключ, было известно только моим очень близким друзьям. Не друзья же поставили мне гроб. Можно было также предположить, что гроб был принесен ко мне гробовщиками по ошибке. Они могли обознаться, ошибиться этажом или дверью и внести гроб не туда, куда следует. Но кому не известно, что наши гробовщики не выйдут из комнаты, прежде чем не получат за работу или, по крайней мере, на чай?

«Духи предсказали мне смерть, – думал я. – Не они ли уже постарались кстати снабдить меня и гробом?»

Я, господа, не верю и не верил в спиритизм, но такое совпадение может повергнуть в мистическое настроение даже философа.

«Но всё это глупо, и я труслив, как школьник, – решил я. – То был оптический обман – и больше ничего! Идя домой, я был так мрачно настроен, что немудрено, если мои больные нервы увидели гроб... Конечно, оптический обман! Что же другое?»

Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мои полы, шапку... Я озяб и страшно промок. Нужно было идти, но... куда? Воротиться к себе – значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб еще раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видевший вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшись один, наедине с гробом, в котором, быть может, лежало мертвое тело, мог бы лишиться рассудка. Остаться же на улице под проливным дождем и в холоде было невозможно.

Я порешил отправиться ночевать к другу моему Упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся. Жил он в меблированных комнатах купца Черепова, что в Мертвом переулке.

Панихин вытер холодный пот, выступивший на его бледном лице, и, тяжело вздохнув, продолжал:

– Дома я своего друга не застал. Постучавшись к нему в дверь и убедившись, что его нет дома, я нащупал на перекладине ключ, отпер дверь и вошел. Я сбросил с себя на пол мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно... В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песню сверчок. В Кремле ударили к рождественской заутрене. Я поспешил зажечь спичку. Но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив. Страшный, невыразимый ужас овладел мною вновь... Я вскрикнул, пошатнулся и, не чувствуя себя, выбежал из номера...

В комнате товарища я увидел то же, что и у себя, – гроб!

Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит. Как он попал сюда? Что это был оптический обман – сомневаться уже было невозможно...

Не мог же в каждой комнате быть гроб! Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошел теперь, я всюду увидел бы перед собой страшное жилище

смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболел чем-то вроде «гробомании», и причину умопомешательства искать было недолго: стоило только вспомнить спиритический сеанс и слова Спинозы...

«Я схожу с ума! – подумал я в ужасе, хватая себя за голову, – Боже мой! Что же делать?!»

Голова моя трещала, ноги подкашивались... Дождь лил как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Ворочаться за ними в номер было невозможно, выше сил моих... Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица струился холодный пот, хотя я и верил, что то была галлюцинация.

– Что было делать? – продолжал Панихидин. – Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от Мертвого переулочка живет мой хороший приятель, недавно только кончивший врач, Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему... Тогда он еще не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского.

У Погостова моим нервам суждено было претерпеть еще новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверьми.

– Ко мне! – услышал я раздирающий душу крик. – Ко мне! Дворник!

И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась темная фигура в шубе и помятом цилиндре...

– Погостов! – воскликнул я, узнав друга моего Погостова. – Это вы? Что с вами?

Поравнявшись со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась...

– Это вы, Панихидин? – спросил он глухим голосом. – Но вы ли это? Вы бледны, словно выходец из могилы... Да полно, не галлюцинация ли вы?.. Боже мой... вы страшны...

– Но что с вами? На вас лица нет!

– Ох, дайте, голубчик, перевести дух... Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс... Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившись сейчас домой, увидел у себя в комнате... гроб!

Я не верил своим ушам и попросил повторить.

– Гроб, настоящий гроб! – сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. – Я не трус, но ведь и сам черт испугается, если после спиритического сеанса натолкнется в потемках на гроб!

Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною...

Минуту глядели мы друг на друга, выпуча глаза и удивленно раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга.

– Нам обоим больно, – сказал доктор, – стало быть, сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Стало быть, гробы, мой и оба ваши, – не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь, батенька, делать?

Простояв битый час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и порешили отбросить малодушный страх и, разбудив коридорного, пойти с ним в комнату доктора. Так мы и сделали. Войдя в номер, зажгли свечу и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями. Коридорный набожно перекрестился.

– Теперь можно узнать, – сказал бледный доктор, дрожа всем телом, – пуст этот гроб или же... он обитаем?

После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и, стиснув от страха и ожидания зубы, сорвал с гроба крышку. Мы взглянули в гроб и...

Гроб был пуст...

Покойника в нем не было, но зато мы нашли в нем письмо такого содержания:

«Милый Погостов! Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги по горло. Завтра или послезавтра явятся описывать его имущество, и это окончательно погубит его семью и мою, погубит нашу честь, что для меня дороже всего. На вчерашнем семейном совете мы решили припрятать все ценное и дорогое. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах (он, как тебе известно, гробовых дел мастер, лучший в городе), то мы порешили припрятать самые лучшие гробы. Я обращаюсь к тебе, как к другу, помоги мне, спаси наше состояние и нашу честь! В надежде, что ты поможешь нам сохранить наше имущество, посылаю тебе, голубчик, один гроб, который прошу спрятать у себя и хранить впредь до востребования. Без помощи знакомых и друзей мы погибнем. Надеюсь, что ты не откажешь мне, тем более что гроб простоят у тебя не более недели. Всем, кого я считаю за наших истинных друзей, я послал по гробу и надеюсь на их великодушие и благородство.

Любящий тебя Иван Челюстин».

После этого я месяца три лечился от расстройства нервов, друг же наш, зять гробовщика, спас и честь свою, и имущество и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами.

Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, входя к себе, я всё боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или катафалк.

Ночь на кладбище Святочный рассказ

– Расскажите, Иван Иванович, что-нибудь страшное!

Иван Иванович покрутил ус, кашлянул, причмокнул губами и, придвинувшись к барышням, начал:

– Рассказ мой начинается, как начинаются вообще все лучшие русские сказания: был я, признаться, выпивши... Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и налился, как сорок тысяч братьев. В свое оправдание должен я сказать, что напился я вовсе не с радости. Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже... По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что, чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег...

Итак, напился я с горя... Когда я вышел от приятеля, то соборные часы пробили ровно два. Погода на улице стояла подлейшая... Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаза выколи: глядишь-глядишь и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь... Холодный и резкий ветер выводил ужасные нотки; он выл, плакал, стонал, визжал, точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. Под ногами жалобно всхлипывала слякоть; фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы... Бедная природа переживала фридрих-гераус... Короче, была погода, которой порадовался бы тать и разбойник, но не я, смиренный и пьяненький обыватель. Меня повергла она в грустное настроение...

«Жизнь – канитель... – философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. – Пустое, бесцветное прозябание... мираж... Дни идут за днями, годы за годами, а ты всё такая же скотина, как и был... Пройдут еще годы, и ты останешься всё тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим... В конце концов закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут: хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил!..»

Шел я с Мещанской на Пресню – дистанция для выпившего почтенная... Пробираясь по темным и узким переулкам, я не встретил ни одной живой души, не услышал ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару, потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу: тут меньше шансов наткнуться на тумбу или свалиться в канаву...

Мой путь был окутан холодной, непроницаемой тьмой; сначала я встречал по дороге тускло горящие фонари, потом же, когда я прошел два-три переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью... Вглядываясь в потемки и слыша над собой жалобный вой ветра, я торопился... Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх... Этот страх обратился в ужас, когда я стал замечать, что я заблудился, сбился с пути.

«Извозчик!» – закричал я.

Ответа не последовало... Тогда я порешил идти прямо, куда глаза глядят, зря, в надежде, что рано или поздно я выйду на большую улицу, где есть фонари и извозчики. Не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал... Навстречу мне дул резкий, холодный ветер, в глаза хлестал крупный дождь... То я бежал по тротуарам, то по дороге... Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.

Иван Иванович выпил рюмку водки, покрутил другой ус и продолжал:

– Не помню, как долго я бежал... Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет... Видеть его я не мог, а осязавши, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко ошлифованного... Я сел на него, чтобы отдохнуть... Не стану злоупотреблять вашим терпением, а скажу только, что, когда немного спустя я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите...

Я, не видевший тогда вокруг себя ничего, кроме тьмы, и не слышавший ни одного человеческого звука, увидев могильную плиту, в ужасе закрыл глаза и вскочил... Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет... И представьте мой ужас! Это был деревянный крест...

«Боже мой, я попал на кладбище! – подумал я, закрывая руками лицо и опускаясь на плиту, – Вместо того чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково!» Не боюсь я ни кладбищ, ни мертвецов... Свободен я от предрассудков и давно уже отделался от нянюшковых сказок, но, очутившись среди безмолвных могил темною ночью, когда стонал ветер и в голове бродили мысли одна мрачнее другой, я почувствовал, как волосы мои стали дыбом и по спине разлился внутренний холод...

«Не может быть! – утешал я себя. – Это оптический обман, галлюцинация... Всё это кажется мне оттого, что в моей голове сидят Дебре, Бауэр и Арабажи... Трус!»

И в то время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги... Кто-то медленно шел, но... то были не человеческие шаги... для человека они были слишком тихи и мелки...

«Мертвец», – подумал я.

Наконец этот таинственный «кто-то» подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул... Засим я услышал вой... Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу... Если вам страшно слушать няnek, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой! Я отупел и окаменел от ужаса... Дебре, Бауэр и Арабажи выскочили из головы, и от пьяного состояния не осталось и следа... Мне казалось, что если я открою глаза и рискну взглянуть на тьму, то увижу бледно-желтое костлявое лицо, полусгнивший саван...

«Боже, хоть бы скорее утро», – молился я.

Но, пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой обитателя могилы, я вдруг услышал новые шаги... Кто-то, тяжело и мерно ступая, шел прямо на меня... Поравнявшись со мной, новый выходец из могилы вздохнул, и минуту спустя холодная, костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо... Я потерял сознание.

Иван Иванович выпил рюмку водки и крикнул.

– Ну? – спросили его барышни.

– Очнулся я в маленькой квадратной комнате... В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет... «Ну, – подумал я, – это значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили...» Но какова была моя радость, когда я услышал за стеной человеческие голоса:

– Где ты его взял? – допрашивал чей-то бас.

– Около монументной лавки Белобрысова, ваше благородие, – отвечал другой бас, – где памятники и кресты выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет... Должно, выпивши...

Утром, когда я проснулся, меня выпустили...

Александр Куприн Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

– Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разруганные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и отворили ее.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрезкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чув-

ствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сирым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну а ты?

– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтож-

ным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Все равно сидением ничего не сможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянуть, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви.

Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей сигары.

Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подышают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку.

Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи.

Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

– Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афро-симова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господи! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное – не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закопте-лый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменялось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось при-строить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно.

Максим Горький Извозчик Святочный рассказ

Предпраздничная суতোлка, дни всеобщей чистки, мытья и расходов – масса мелких расходов к сочельнику, почти дочиста опустошающих карман человека, живущего на жалованье, – эти два-три дня сильно расстроили и без того не особенно крепкие нервы Павла Николаевича. Проснувшись утром в сочельник, он чувствовал себя совсем больным и полным острого раздражения против всех этих условностей жизни, превращающих праздник, время отдыха, в какую-то бестолковую суету, против жены, придававшей этой суете значение чего-то необыкновенно важного, против детей, отчаянно шумевших без призора над ними, прислуги, утомленной, озабоченной и ничего не делавшей так, как бы следовало.

Он хотел бы стоять вне всей этой «идиотской толкотни», но такая характеристика времени вызвала ссору с женой, и, чтобы успокоить ее и себя, он принужден был вмешаться в события: его откомандировали в магазин, потом на базар за елкой для детей, потом в оранжерею за цветами для стола, и наконец, к пяти часам вечера, сильно утомленный, плохо пообедавший, с тупой тоской на душе, он получил возможность отдохнуть. Плотно затворив за собой двери, он забрался в спальню, лег там на кровать жены и, закинув руки за голову, стал пристально, ни о чем не думая, смотреть в потолок.

В чистенькой и уютной спальне царил мягкий сумрак от зажженной пред образом лампы, на пол и стены падали мягкие тени, падали и колебались. С улицы доносился шум полозьев по снегу, какие-то крики, стуки, но всё это звучало мягко, убаюкивающе.

– Ах, Коля! Отстань ради Бога!

«Это жена кричит на сынишку, он, наверное, ни в чем не виноват, но она устала, и он платится за это. Воспитание детей! Глупо говорить о воспитании детей, если мы сами еще не воспитаны», – подумал Павел Николаевич.

«Я давеча тоже накричал на нее... Свинство! Впрочем, она поймет, что это болезненное раздражение, не больше. Она мирится с тем, что я нервничаю. Вполне естественно нервничать, когда положение так незавидно. Жить, вечно работая для того, чтобы достать в месяц сотню рублей, оставляющих неудовлетворенными более сотни твоих потребностей, да еще уметь быть здоровым при такой жизни, – это не по силам современному человеку. Терпение хорошо, когда есть надежды на лучшее будущее. И как всё это глупо, мелко, пошло! А между тем вся жизнь в этих мелочах. Работаешь для того, чтобы есть, и ешь для того, чтобы завтра снова работать. Семья. Кто-то предлагал законодательным путем запретить жениться беднякам. Несомненно, что это был сострадательный человек. Что я, с моим заработком, могу дать семье? Ни сносной в смысле удобств жизни жене, ни достаточно хорошего воспитания детям. Глупо всё! И непоправимо глупо, ибо сумма потребностей человека переросла сумму его сил. Это не исправить распределением богатства без того, чтобы не выбросить из жизни нашего брата неврастеника. Зачем это я философствую? Вот тоже милая культурная привычка, что-то вроде пьянства по ее воздействию на организм!..»

Он повернулся на бок, поправил подушку под головой и, крест-накрест положив ладони рук на плечи, закрыл глаза.

Ему вспомнился разговор с извозчиком, который вез его давеча с базара. Это был обтерханный, хлипкий мужичонка, какой-то несчастный, унылый, разбитый.

– Али я такой мизгирь был год-другой тому назад? Эх, ты! Куда те! Я в дворниках в ту пору жил у одной купчихи, у Заметовой. Слыхали? У нее, значит. Житье было очень даже приятное. Подручный был, работы мало. Ну я у безделья и задумался... Над чем? А так,

вопче... надо всем... Рази, ежели правильным-то глазом посмотреть на жизнь, – не задумаешься? Дьявол, первое дело. Чуть ли что – а он тебя своим духом и опажнул. Ну, ты сейчас, первое дело, точку свою и потеряешь, с линии, значит, сшибешься, и пошел колобродить. Будто чего ищешь; а чего искать? Первое дело – себя самого надо найти, свое, значит, при-способление к жизни. Нашел ты это – ну и здравствуй. Так-то.

– Купчиха эта, верно, скупущая. Но и деньжищев у нес – страхи! Ужасты! Накопила, дьявол. Капитолина Петровна звать-то ее. А куда вот накопила? Спросите ее – не скажет. Не знат, ей-ей, не знат! Умрет ведь, как все люди: уж это первое дело! А рази для смерти-то деньжищи требуются? Очень даже маленько для смерти человеческой нужно! Так-то, сударь мой?

– Чево-с? Так точно... Сродников у ней нет. Одна как перст. Как сова в дупле, в своем-то дому. Прислуга вся у нее – трое. Кучер да я, дворник, значит, да Маришка такая есть; злющая стерва – в кухарках... Только всего! Гостят там и разные монашки, странницы и прочие эдакие народы. И как только они ее не придушат однажды – Богу известно. А надо бы ее придушить, – потому как она совсем бесполезная тварь для Господа. Но Его воля, и Ему это знать. Мы не судьи. А что сохранно живет, это даже очень удивительно. Одна ведь, судите сами! Хлясть ее по чувствительному месту разок и – твои капиталы. Надо думать, кто-нибудь догадается про это. Счастлив будет, коли умно сделает! Ну, но, ты, трясогузица!

Извозчик болтал, чмокал на лошадь, ерзал по облучку и то и дело оборачивал к Павлу Николаевичу свое маленькое, опухшее от пьянства лицо. Глаза у него были серенькие, живые, с красными воспаленными веками, нос, как луковица, и на обеих щеках сине-багровые пятна от мороза.

– Здорово я пил водку! – восхищенно восклицал он и улыбался во всю рожу от сознания своего удалства.

Павлу Николаевичу казалось, что этот мозглявый философ, мужичонка, где-то тут близко от него, и он ощутил беспокойство от сознания этой близости. Извозчик как бы мешал чему-то. Но это беспокойство, смутное и неопределенное, заставило его только глубже сунуть голову в подушку и поежиться.

– Баба старая уж, много ли ей надо? Долбануть ее разик – она и готова! – говорил извозчик.

– Ну вот, возьми и долбани! Убирайся! – сказал Павел Николаевич, раздражаясь.

– Я не могу. А ты сам – вот это так! Ты барин умный, значит, тебе это сручней.

– Пошел вон! Чего ты прилез и мелешь ерунду? Я ведь заплатил! – крикнул Павел Николаевич.

– Точно что, – спокойно сказал извозчик. – Я уйду, не сердись. Я для тебя ведь больше. Дело очень даже простое и совсем уж верное. Ты это обмозгуй. Куда она? Подумай... Совсем ни к чему она. А ты человек живой. Средствов у тебя нет. А тут сразу ее!

– Хорошо, ступай! Я усну вот немного, – сказал Павел Николаевич просто и спокойно.

– Ну-ну, усни, отдохни. Это хорошо. Прощай.

И извозчик исчез.

– Он не глуп, – сказал Павел Николаевич, садясь на постель. – Да, он прав. Я не Раскольников, не идеалист. Дело верное. Ставка рискованная, но выигрыш велик. О, если бы мне даже десять тысяч... Я сумел бы на них жить! Независимость – вот что такое деньги. Свобода-а! Разве я не хочу свободы? А удовольствия? Это ведь иллюзия того, что зовут счастьем и что не знакомо никому. И всё это я беру одним ударом. Моя ставка – жизнь плохая, серая, скучная, выигрыш – жизнь независимая, богатая, полная всего, чем я захочу ее наполнить. Мучения совести? Это пустяки, это фантазия. Совесть – это едва ли ощутимо, едва ли есть. Да что мне думать об этом, раз я решил, как поступить.

Когда он решил, он не заметил этого, это вышло как-то между дум, но он всем своим существом чувствовал, что уже решил, и бесповоротно.

– Как мне это сделать? – задал он себе вопрос. И тотчас же оттолкнул его прочь от себя: – Нет, не надо обдумывать, ничего не надо. Пусть это удастся сразу или не удастся совсем. Сразу, без думы – это лучше. Сейчас же начинать!

Он ощутил в себе страшный прилив энергии, энергии спокойной, уверенной в успехе предприятия, готовой на борьбу со всевозможными препятствиями. И, готовый к делу, он встал с постели, потянулся, напрягая мускулы рук, и озабоченно посмотрел вокруг себя.

– Однако чем бы мне ее убить? Тем топориком, которым колют сахар? Легко. Утюгом? Завернутым в полотенце утюгом! Да, да, это очень удобно. Я читал где-то. Прекрасный способ. Мне нужно выйти так, чтоб меня не заметили. Утюг я возьму на окне в прихожей. Еще нужен ридикюль или какой-нибудь мешочек для денег. Это есть у жены. Она, наверное, стала бы отговаривать меня, знай она, что я решил. Гм... Это так. Но общепринятые точки зрения не могут удержать меня, человека, с такой энергией и с таким светлым духом берущегося за дело, с этих точек зрения – преступное. Человек – мера всему; первый раз я сознал это и сознал так ясно. Из всех философов только софисты назвались мудрецами, и одни они имели на это право. Да, человек – мера всему. Законы во мне, а не вне меня. Я не колеблюсь – значит, я прав. Иду. Это любопытно, помимо всего прочего. Но что так переродило меня? Поистине, никто из нас не знает, что будет с ним в следующую за этой минутой жизни!

Перед дверью купчихи Заметовой Павел Николаевич остановился и пристально посмотрел на фасад дома. Двухэтажный, старый, с облезшей штукатуркой, дом равнодушно смотрел своими четырьмя окнами на улицу и на человека перед ним. А человек стоял и думал: «Как всё это будет – ужасно любопытно. Меня могут схватить, и тогда всё будет так глупо и так жалко. В сущности, я на пороге к новой жизни. Кто мне отопрет дверь, что мне делать с ним? Ага, конечно. Это будет пробой, первым уроком».

И он сильно дернул ручку звонка, после чего его сердце как бы перестало биться в ожидании будущей минуты. Минут прошло много, пока за дверью не послышались шаги и звонкий голос спросил:

– Кто там?

«Это кухарка Маришка», – сообразил Павел Николаевич и ощупал под полкой своего пальто оружие.

– Сосипатра Андреевна дома?

– Дома. А вы кто?

– Скажите... из... от Бирюкова, – вспомнил Павел Николаевич фамилию хозяина лучшего гастрономического магазина в городе.

Щелкнул ключ, дверь отворилась, и перед Павлом Николаевичем встала молоденькая девушка с черненькими живыми глазками. Это его обескуражило.

– А разве Марины нет дома? – спросил он, не переступая порога.

– Она в баню пошла. Проходи, – сказала девушка, еще шире растворяя дверь и доверчиво рассматривая лицо гостя.

– А! – задумчиво сказал Павел Николаевич, покусывая свою бороду. – Знаете, это очень жаль. Вы такая молодая и... пожалуй, я ворочусь!

– Да господи! Разве не всё равно? – воскликнула девушка, широко открывая глаза.

– Всё равно, вы говорите? Гм! А, пожалуй, вы правы. Хорошо, я иду дальше. Заприте дверь.

– Сейчас запру; не так же оставлю, – усмехнулась она, и снова щелкнул ключ и загремел какой-то железный крюк.

Девушка наклонилась к ногам Павла Николаевича, желая помочь ему снять калоши, и в этот момент он, высоко взмахнув утюгом, с силой опустил его на ее затылок. Удар был

верен и прозвучал так тупо. Девушка глубоко вздохнула, ткнулась лицом в пол и вытянулась на нем. Павел Николаевич слышал, как что-то треснуло и потом еще что-то металлическое покатилося по полу.

«Это, должно быть, у нее пуговица от корсажа оторвалась, – подумал он, глядя на стройное тело, лежавшее у его ног в складках розового ситца. – Однако я ведь убил человека. Это не трудно и не страшно. А говорят и пишут, что убить... Ха-ха-ха! Сколько лишнего на свете, сколько лжи! И для чего лгут, говоря о благородстве человека? Для того, чтобы сделать его благородным посредством этой лжи».

– Аннушка, кто пришел? – раздался сверху женский голос, сухой и твердый.

– Это я! – быстро ответил Павел Николаевич и пошел вверх, шагая по две ступеньки.

– Что вам угодно, батюшка?

Наверху лестницы стояла высокая и худая старуха в темном платье, с длинным костлявым лицом и длинной же шеей. Она несколько наклонилась вперед, пытливо всматриваясь в идущего к ней человека.

«Аутюг-то я оставил внизу!» – и на мгновение Павел Николаевич замер на месте. Это не укрылось от взгляда Заметовой.

– Что вам угодно? – громче, чем в первый раз, спросила она и отступила шага два назад. Сзади нее было зеркало, и Павел Николаевич видел шею Заметовой сзади.

– Я от Бирюкова! – сказал он, усмехаясь чему-то и идя на старуху.

– Постой, постой! – произнесла она, простирая обе свои руки.

Павел Николаевич развел их так, что они охватили его бока, и быстро схватил старуху за горло.

– От Бирюкова! – повторил он, глубоко втискивая в ее шею свои пальцы и нащупывая под кожей позвонки.

Старуха хрипела и цапалась за его пиджак то на груди, то с боков. Лицо у нее посинело и вздулось, изо рта вываливался смешно болтавшийся язык. Своими локтями он сжал ей плечи, и она не могла достать костлявыми пальцами до его головы и лица, но пыталась сделать это. Ей удалось наконец схватить его за ворот – из рубашки у него вылетел запонка и покатилося по лестнице.

«Улика, – мелькнуло у него в голове, – надо найти». Старуха уже шаталась, но всё еще боролась, толкая его своими коленями и разрывая на нем платье.

– Перестаньте! – вскричал он повелительно и громко, чувствуя ее ногти на коже своей груди, и, крикнув, он сильно стиснул руками ее горло.

Она зашаталась и рухнула на пол, увлекая за собой и его. Он свалился на нее и чувствовал предсмертный трепет старческого тела. Затем, когда ему показалось, что она мертва, он разжал свои руки, освободил ее шею и, отирая с лица пот, сел на полу рядом с нею. Он чувствовал себя усталым и раздраженным чем-то – не злым, не зверем, но именно раздраженным, и только. Старуха не двигалась, лежа в изломанной позе, Павел Николаевич смотрел на нее и не чувствовал ничего: ни жалости, ни боязни, ни омерзения к трупу. Он был совершенно равнодушен. Он сидел и думал: «Однако как легко люди умирают, и как им мало для этого надо. Удар куском железа, и человека нет. Всё – смысл, слово, движение – исчезает от грубо ясной причины – и всё это само по себе так неясно. Скверно умирать. И стоит ли жить для того, чтобы умереть в конце концов; стоит для этого делать что-либо – убивать, например? Глупо и пошло! Ну зачем я всё это сделал? Я уйду, черт с ними, с деньгами! Это всё проклятый извозчик».

– А! Ты здесь?

Он действительно был тут; он сидел на перилах лестницы, побалтывая в воздухе ногами, и с любопытством смотрел на Павла Николаевича. В одной руке у него был кнут, другой он держался за перила.

– Мы давно здесь! – сказал он спокойно. – Управился с делами-то?

– Скотина ты, зверь! Спрашиваешь ты о чем... Ведь я людей убил! Хочешь – я и тебя убью? Ты хоть заслуживаешь этого, зверь! – возмутился Павел Николаевич.

– Что ты убил людей – это верно. Но сердиться на меня за это не надо. Ведь тебе их не жалко?

– Нет, но все-таки.

– Коли тебе их не жалко – так и говорить не о чем. Да потом, чего жалеть мертвых? Живых бы – другое дело. Живой человек достоин жалости. Это так.

– Ну ты не философствуй! – сурово сказал Павел Николаевич. – Ты уходи, и я уйду. Глупо всё это.

– А деньги-то? Деньги возьми! Возьми, попробуй. Может, ты с деньгами-то и счастье найдешь твое. Деньги надо взять, за этим ты и пришел сюда.

– Да-а! Это верно. Я возьму.

Павел Николаевич, сидя на полу, схватил голову руками и покачнулся. Одна мысль поразила его.

– Как же это я так равнодушен, я – убийца? Ведь я убил сейчас людей – лишил их жизни? Как же это? Где же мои чувства? Совесть? Разве во мне нет закона? Никакого внутреннего закона? Что же это такое? Извозчик, что ты со мной сделал? Ведь я совершенно равнодушен, а? Пойми же, я – равнодушен!

Извозчик хладнокровно сплюнул в сторону и ударил себя кнутовищем по колену. Потом он посвистал, пристально оглядев Павла Николаевича. Он тоже был совершенно равнодушен. И еще лежал на полу труп задушенной старухи. Павел Николаевич почувствовал не ужас от присутствия смерти около себя и от мертвого равнодушия извозчика и от того, что все чувства в нем самом тоже замерли, – нет, его охватила тупая леденящая душу тоска, только тоска! Ему захотелось закрыть глаза и вытянуться на полу так же, как мертвая женщина. Она хотя и была задушена им, но он чувствовал ее как бы сильнее себя. И он никак не мог взглянуть в лицо извозчика, который всё что-то насвистывал такое грустное и в то же время насмешливое. Вот он перестал свистать и заговорил:

– Это ты напрасно жалобные-то слова говоришь. Я в них не верю... Да, брат. А что ты равнодушен, это я знаю. Чего тебе беспокоиться чувствами? Причины нет к тому. Убил ты, это точно. Так ведь сразу убил. И это хорошо по нынешним временам. Без терзаний разных, ахнул – и готово. Медленно, с прохладцей убивать – это действительно подлость, ежели по совести говорить. А сразу – ничего! Кабы человек говорить мог после смерти, он тебе спасибо бы за это сказал. Потому все-таки облегчение ты ему сделал, сразу угомонил. А ты бы об живых подумал. Сколько народу через тебя, через каждого из нас медленными муками умирают? Жены наши... Али мы их не мучим? Друзья... Али мы их не терзаем? Всякие разные люди, которые около нас толкаются... Али они от нас мук не принимают? И всё ты это видишь, и всему этому ты препон не кладешь. Ну и загрубел ты в этой жизни, оравнодушел. Это я понимаю.

– Что ты такое говоришь? – тихо спросил Павел Николаевич, перебивая странную речь извозчика.

– Дело говорю. Посмотри чистым глазом на жизнь-то. Какой в ней есть порядок? Никакого уважения у человека к человеку нет. Жалости друг к другу тоже нет. Никто никому не споможет жить-то. Свалка идет за кусок, и все мы грыземся. Дележу правильного нет, любви нет. Ты – человек, а прочие все до тебя не относятся? Ну и что? Вокруг от нас с тобой сотни и тысячи гибелью гибнут... И все мы это видим, и все мы это за порядок принимаем. Чего же? Коли это возможно – и убивать возможно, была бы сила в руке. Конечно, опасно убивать, потому судят за это, но ежели бы не судили, то мы очень даже свободно стали бы друг друга убивать. Потому, хоть спинжаки на нас и модные, но все мы притворяемся больше

хорошими людьми, а сердца-то у нас каменные. И никакого в нас закона нет. Поодаль нас законы-то, а в сердцах мы их не носим. Чего же ты захилел? Переступил ты закон, смог это – значит, ты себе верен. Ум у тебя есть, суда – ты убежишь, изловчишься скрыться от него. А людей ты и раньше не жалел. Потому, если бы ты их жалел, рази бы они так трудно жили? Вона! Чай, ты облегчал им судьбу-то из жалости. А не облегчаешь, так вот прекращаешь ее. Нет в себе самом никакого запрету – и нечего толковать. Пустые слова одни. Снаружи тебя ничем не свяжешь, коли в нутре у тебя разнузданность. Перед самим собой не умеешь стыдиться; люди тебе нипочем. Так-то. Ну и действуй как хошь.

– Ты осуждаешь меня? – спросил Павел Николаевич.

– Мне что! Али это мое дело? Я ведь тоже человек, как и ты. Чего я тебя буду осуждать, коли и во мне закону нет.

– Что же мне теперь делать? – задумчиво спросил Павел Николаевич.

– Доделывай уж, что начал, – всё равно!

И вдруг извозчик исчез куда-то.

Павел Николаевич глубоко вздохнул и поглядел вокруг себя. Рядом с ним лежал труп старухи, внизу лестницы труп девочки.

По лестнице был разостлан красный ковер с черными каймами. Где-то далеко, во внутренних комнатах, звенела канарейка. Павел Николаевич встал с пола и громко спросил:

– Это сон?

По комнатам прокатился гул, но никто ничего не ответил ему. Он пошел вперед по коридору и в дверь одной комнаты увидал кровать.

– Это спальня старухи. Здесь деньги. Возьму деньги. Всё равно! – вслух сказал он.

Под кроватью стояла старинная низенькая укладка. Павел Николаевич, как вошел в комнату, тотчас же увидал угол укладки, высовывавшийся из-под простыни. Он наклонился, выдвинул ее – она была заперта, но ключ был тут же. Павел Николаевич отпер ее, причем замок звучно зазвенел.

Укладка была до верха полна денег, и Павел Николаевич стал их аккуратно переключивать в свой ридикюль. Потом он насовал их себе в карманы. Они были такие тяжелые, эти пачки кредитных бумажек. Он долго рылся в них, и их много осталось в укладке, но он без малейшего сожаления закрыл ее крышку.

Потом он вышел из комнаты, спустился с лестницы, равнодушно пройдя мимо двух трупов, и вышел на улицу.

Улица была пуста, шел снег, и дул сильный ветер, Но Павел Николаевич не чувствовал холода, медленно шел и всё думал – почему это он так много пережил и ничего не чувствовал?

...Восемь лет прошло со дня поступка Павла Николаевича. Его старшему сыну Коле уже минуло девятнадцать лет, одна дочь была невестой, другая обещала через год стать ею, жена Павла Николаевича превратилась из нервной женщины, вечно обремененной заботами о хозяйстве и детях, в солидную даму-филантропку, а сам Павел Николаевич пользовался общим почетом в городе и был первым кандидатом в городские головы.

Деньги старухи пошли ему впрок – он умно распорядился ими. Не боясь ничего, жил покойно, почетно, много работал. Но его характер, простой и общительный, – стал портиться, по общему замечанию знакомых: Павел Николаевич перерождался из нервного, искреннего человека – в человека необщительного, задумчивого, вечно занятого какой-то одной мыслью.

Не угрызения совести терзали его душу, нет, он никогда не давал себе отчета в том, что сделал, – но его со дня убийства старухи подавлял вопрос: «Есть во мне внутренний закон или нет?»

Чем более удачно укладывалась его жизнь, тем более сильно давил его душу этот вопрос. В день Рождества Христова, восемь лет тому назад, весь город говорил о таинственном убийстве старухи и дочери, и Павел Николаевич, оживленно вступая со всеми в разговоры по этому поводу, зорко следил за собой, ожидая, что вот-вот в нем шевельнется страх или раскаяние. Но таких чувств не зарождалось в его душе, и тогда он спрашивал себя:

– Да неужели же во мне нет закона, который принудил бы меня почувствовать себя преступником?

Очевидно, что такого закона не было в его душе. Но он не мог забыть о том, что человеку свойственны такие ощущения, как угрызения совести, раскаяние, сознание своей преступности, и всё искал их в себе – искал, не находил и холодно удивлялся сам себе. «Куда же всё это исчезло из меня?..»

И жизнь казалась ему странной – не то бредом, не то фантастической жизнью человека, у которого умерло сердце.

Однажды, когда он задал себе вопрос о том, куда исчезли из него человеческие чувства, – пред ним внезапно появился извозчик.

Он был всё такой же замухрышка, как и раньше, и такой же равнодушный философ; время не действовало на его обтерханную фигуру, не положило заплат на его рваный аязм и не увеличило количество дыр на этом аязме. Он появился в кабинете Павла Николаевича, сел на ручку кресла, сдвинул концом кнутовища шапку набок и, поглядев на своего седока, вздохнул.

– Это откуда? – усмехнулся Павел Николаевич. Ему казалось только забавным это неожиданное и таинственное появление извозчика. Это нисколько не смущало и не пугало его.

– Я-то? Я из разных мест... – равнодушно ответил извозчик. – Живешь?

– Живу, как видишь. А ты кто, черт или Агасфер? – снова усмехнулся Павел Николаевич.

– Зачем? Так я, просто себе... творение. Ну как – закону-то не нашел в себе? Ищешь всё?

– Ищу, – уже вздохнув, ответил Павел Николаевич. – Ищу, брат, но не нахожу... Странно это, да?

– Очень даже просто, – сказал извозчик. – И не ищи – не найдешь. Изжил ты законы-то.

– Да почему? – воскликнул Павел Николаевич.

– А потому, что не применял. Не пускал его в ход, в дело. Всё больше рассуждал – какой закон лучше, да так ни одного себе в сердце-то и не вкоренил. Ну а жизнь-то тебя давила и всё из тебя выдавила. И вот ты дошел до того, что не только равнодушно смотришь на смерть вокруг тебя, но и сам спокойно убил и спокойно рассуждаешь, зачем убил. Видишь ты вокруг себя одну мерзость, и скверну, и тьму, а в самом тебе никакого свету не возжег Господь. То есть Господь-то возжег, да ты его погасил, мудрствуя лукаво. Ну и отсохло у тебя сердце и все лучшие чувства с ним. И стал ты как дерево.

– Стой, ты врешь! Я действую. Я трушусь...

– А для че? Можешь и бросить всё да так столбом и стоять в жизни-то. Тебе ведь всё равно. Разве твоя работа – истинно есть работа? Поди ты! Ты не от сердца делаешь свои дела, а с точки зрения всё.

– Как это с точки зрения? – изумился Павел Николаевич.

– Как? Не понимаешь ты будто! У вас тут есть разные точки зрения – на этом месте одна, на этом другая. Вот коли ты городским головой будешь, для этого места есть своя точка зрения, а полицеймейстером сделаешься – другая... Тебе главное, чтобы почет был, чтобы отвечать той точке зрения, с которой на тебя товарищи привыкли смотреть. А огнем ты никаким не пылаешь – делаешь свои дела по мерке да по обязанности. Так ли?

- Пожалуй... Но почему это я такой?
- А ты подумай...
- Ведь я – как мертвый, поистине говоря.
- А то как же? И в самом деле – мертвый.
- Что же со мной будет?
- Умрешь, время придет.
- Это и все другие сделают.
- Еще бы не сделали! Само собой – сделают.
- А при жизни-то что со мной будет?
- Не зна-аю! – протянул извозчик, покачав головой. – Скверная твоя жизнь, без чувств-то, а? Не говори – знаю, скверная. Жалко тебя, паря. Да я сам тоже равнодушен к жизни-то.
- Что же делать? – задумчиво спросил Павел Николаевич.
- А я почем знаю? Кричи всем, что в тебе закону нету, авось люди услышат...
- Ну так что?
- Ничего. Услышат – посмотрят в самих себя, может, увидят, что и в них тоже закона нет, и они все, как ты сам, такие же пустые и равнодушные к жизни. Им это на пользу.
- А я?
- А ты жертвой будешь. Это хорошо, жертвой-то быть, за это, слышь, грехи отпускаются...

И он исчез так же странно, как явился. Вдруг исчез. Но и это не поразило Павла Николаевича, как не поразило его появление извозчика. Он слишком был поглощен вопросом о том, почему этот разговор не наполнил его ничем, ни одной думы не зародил в его душе. Он слышал слова, отвечал словами – и звуки не возбуждали в нем чувств. Много в жизни вокруг него раздаются разговоры о жизни, о смерти, о судьбах всего живущего, о будущем и настоящем – во всех этих разговорах он сам принимает участие, но молчит его душа, отсутствует его сердце. Его не пугала, впрочем, и эта внутренняя пустота; но все-таки странно было ощущать ее в себе.

И он думал, усмехаясь:

«Бедные люди! Как они плохо знакомы друг с другом и как мало проницательны. Вот я убийца, но никто не догадывается об этом, и я пользуюсь даже почетом среди людей».

И, глядя на своих семейных, любивших его, он тоже думал:

«Жалкие люди... если б вы знали!»

Но никто ничего не знал, и человек без чувств всё жил и поступал так, как будто бы у него были в груди чувства.

Так и текла его жизнь изо дня в день. Он становился всё более внутренне равнодушен к жизни, но продолжал действовать по примеру, по привычке, по обязанности. Мертвый духовно, он творил мертвые дела и знал, что они безжизненны. У него не было души, и он не мог вложить в жизнь душу. А пустота в нем всё росла и развивалась – и это становилось мучительно неловко.

С внешней стороны ему не на что было жаловаться. Его почитали и уважали, считая честным, деятельным человеком. Но это не удовлетворяло его. Все ощущения гибли в нем, как маленькие камешки, брошенные в бездонную пропасть, – прозвучат и исчезают бесследно.

– Неужели нет во мне закона? – всё чаще и чаще спрашивал он себя.

Приближался день его выборов в городские головы. Он не радовался, хотя знал, что его выберут. Откуда-то текли к нему деньги, и слава о нем, как о человеке почтенном, достигала его ушей. Но это не приносило ему с собой ничего. Ему нечем было чувствовать, нечем радоваться, нечем плакать. Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования.

Не чувствовать в себе желаний – значит не жить. И Павел Николаевич иногда говорил себе:

– Хорошо бы иметь какое-нибудь желание!

Но куда было вместить его – у человека отсохло сердце оттого, что он увлекся возможностью быть равнодушным к жизни и был равнодушен к ней, сначала не замечая этого за собой, а потом потому, что умертвил свое сердце равнодушием ко всему, кроме себя.

И вот наступил день итога; от него никогда и никуда не уйдет человек. Это был день выборов в головы, когда Павла Николаевича уже выбрали и толпа знакомых горожан собралась к нему с поздравлениями и на обед. Сели за стол, и ели, и говорили похвальные речи. Было шумно и весело, как всегда бывает в таких случаях.

Павел Николаевич принимал поздравления и тосты и презрительно думал о людях, собравшихся вокруг него.

Все слепые, жалкие, все живут вне действительной жизни – жизни сердца. Ни у кого нет чутья – того чутья, которое издали отличает хорошее от дурного. Но есть ли хорошее и дурное?

Как шумят все эти люди! Зачем?

И вдруг в голове его вспыхнула острая мысль, наполнившая сразу всё существо его безумным желанием испугать, изумить, раздавить этих людей... Он взял в руки бокал вина, встал и, когда все замолчали, ожидая, что он скажет, он сказал:

– Господа! Мне глубоко лестно, меня глубоко трогает ваше внимание – так обыкновенно начинаются речи людей в моем положении. Я не могу так начать свою речь, не могу. Я полон других чувств... Господа! Меня глубоко изумляет и страшно возмущает всё то, что вы тут говорите. Глупо всё это и неуместно, совершенно неуместно. Вы меня не знаете... Положим, я тоже не знаю о вас ничего, кроме того, что все вы духовно слепы и жалки; поэтому жалки вы мне. Слышите? Знаете ли вы, кто я? Я, уважаемый всеми вами, как вы говорите, я – убийца! Это я восемь лет тому назад убил девочку и старуху Заметову... Я... Что? Ха-ха-ха! Это я, я! А вы целовали меня, преклонялись предо мной, сначала как богачом, потом как общественным деятелем... А разбогател-то я с денег старухи... Вы меня не считаете сумасшедшим, нет ведь?

Все чувствовали себя страшно оскорбленными его речью и поэтому не сочли его помешанным, каким наверное сочли бы, если б он покаялся пред ними смиренно и тихо. Но он оскорблял, издевался, и глаза его блестели огнем внутренней силы, а не безумия. Сильные всегда возбуждают ненависть у слабых.

Все заволновались, затолпились.

– Полицию! – крикнул кто-то, и явилась полиция.

Опьяненный своим подвигом, Павел Николаевич всё говорил, решительно и громко:

– Во мне закона нет, и сердце мое умерло! Храните сердца ваши от разрушения – вкорените в них закон. Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека!

Но он был преступник... Как могли видеть в нем пророка? На него смотрели со злобой и ненавистью, а он отвечал всем презрением и сарказмом сильного.

– Вот это так! – сказал извозчик, вдруг появляясь перед ним с улыбкой восхищения на своем маленьком морщинистом лице.

– Вот это так, это дело! Так и надо было давно бы еще. Теперь ты будешь страдать. И страдай – это хорошо! Теперь у тебя есть крест. Всегда надо иметь крест на вые своей. Это – первое дело для жизни! Страдай, неся его, и воспитаешь душу свою чисту... Без креста невозможно. А с ним всегда в жизни точку найдешь, твердую точку. Теперь ты ожи-вишься страданием-то твоим. И путь есть у тебя: к Богу ты придешь... Убил? Ничего! Разбойника помнишь? Прощен был, а всего восемью словами Господу помолился. Теперь ты, брат, осмыслился. Иди себе, страдай. Про людей не забудь. Не многим они лучше тебя...

Всё стало как-то линять вокруг Павла Николаевича: всё исчезало куда-то, и появлялся свет, красный, дрожащий, – свет, от которого глазам было больно.

Земля сотрясалась...

Перед Павлом Николаевичем, когда он открыл глаза, явилась фигура жены в ночном дезабилье, с утомленным лицом и нервно дрожащей верхней губой; в одной руке она держала лампу под розовым абажуром, другой трясла мужа за плечо.

– Павел! Пусти меня... Иди к себе... и разденься. Как это удобно спать столько времени одетым!

– Подожди...

– Пожалуйста, нечего... Пойми, что я утомлена.

– Юля! Что я пережил!

– Переспал.

– А? Да... Верно. Это сон – и прекрасно. И знаешь ли ты...

– Я хочу лечь...

– Нет, послушай... Как фантастично! Этот извозчик, пойми – извозчик! Почему именно извозчик?

– Потому, что ты не выспался и бредишь. Уходи же!

– Но, Юленька, я расскажу всё...

– Завтра...

– Ну хорошо. Черт знает что иногда снится! Но знаешь – во всем этом есть смысл. Мы действительно слишком равнодушны и слишком легко поддаемся жизни.

– Дай мне заснуть и философствуй потом. Только нельзя ли про себя? Ты не хочешь понять, что я встала сегодня в восемь утра, а теперь третий час ночи.

– Голубонька! Не стану... Молчу...

Он перебрался на свою кровать, и чуть только голова его коснулась подушки, как уже почувствовал сладкое предчувствие обнимающей его дремы.

– Сон, ей-богу, интересный... И с моралью. Послушай же, Юля... А то я забуду всё.

Жена не отвечала ему. Огонь лампы подпрыгнул, тени на стенах дрогнули, и комната наполнилась тьмой.

– Осмыслиться. Да, осмыслился... – шептал про себя Павел Николаевич, засыпая.

С улицы в комнату глухо доносилось медное пение праздничных колоколов и порой стук ночного караульщика.

Михаил Зощенко Леля и Минька

Елка

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю елку. Это много.

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое елка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И наверно, я своими черными глазенками без интереса смотрел на раскрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. Я даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку.

А моей сестренке Леле было в то время семь лет. И она была исключительно бойкая девочка.

Она мне однажды сказала:

– Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестренкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилка и крымские яблочки.

Моя сестренка Леля говорит:

– Не будем глядеть подарки. А вместо этого давай лучше съедим по одной пастилке.

И вот она подходит к елке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке.

Я говорю:

– Леля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем.

И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблочка. Леля говорит:

– Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку.

А Леля была очень такая высокая, длинновязая девочка. И могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку. А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко.

Я говорю:

– Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я еще раз откушу это яблоко.

И я снова беру руками это яблоко и снова его немножко откусываю.

Леля говорит:

– Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопашку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет.

Я ей говорю:

– А я, Лелища, как поставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.

Леля говорит:

– Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку. Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую комнату.

Леля говорит:

– Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями.

И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла двери и сказала:

– Все входите.

И вот все дети вошли в комнату, где стояла елка. Наша мама говорит:

– Теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.

И вот дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

– Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Леля сказала:

– Это Минькина работа.

Я дернул Лелю за косичку и сказал:

– Это меня Лелька научила.

Мама говорит:

– Лелю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:

– С этих пор я не буду приходить к вам к гости с моим мальчиком.

А я сказал:

– Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.

И та мама удивилась моим словам и сказала:

– Наверное, ваш мальчик будет разбойник.

И тогда моя мама взяла меня на руки и сказала той маме:

– Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите.

И та мама сказала:

– Я так и сделаю. С вами водиться – что в крапиву садиться.

И тогда еще одна, третья, мама сказала:

– И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестренка Леля закричала:

– Можете тоже уходить со своим золотушным ребенком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне достанется.

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

– Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся.

И тогда все гости стали уходить.

И наша мама удивилась, что мы остались одни.

Но вдруг в комнату вошел папа. Он сказал:

– Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И папа подошел к елке и потушил все свечи. Потом сказал:

– Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту елку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно веселый и добродушный.